

ЛАУРЕАТ ДУБЛИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
РОМАН ПЕРЕВЕДЕН НА 32 ЯЗЫКА

«Один из самых оригинальных голосов
латиноамериканской литературы»

Марио Варгас Льюса,
лауреат Нобелевской премии



ХУАН ГАБРИЭЛЬ ВАСКЕС

перевод Маши Малинской

Хуан Габриэль Васкес

Шум падающих вещей

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67726332
Шум падающих вещей: Лайвбук; Москва; 2022
ISBN 978-5-907428-42-3

Аннотация

В романе Хуана Габриэля Васкеса, самого известного современного писателя Колумбии, «наследника Маркеса», как именует его пресса, есть все, что предполагает качественная литература: острый закрученный сюжет, психологическая драма, тропические цветы и запахи, непростые любовные отношения. Колумбия еще только оправляется от жесткой войны правительства с Пабло Эскобаром. На улицах Боготы еще гибнут люди. Молодой преподаватель права Антонио Яммара становится свидетелем убийства бывшего летчика Рикардо Лаверде и начинает расследование. Сцены романа будоражат воображение: убитый бегемот из зоопарка наркобарона, бывший заключенный, со слезами слушающий магнитофонную кассету, крушение самолета... И все-таки книга рассказывает не только о страхе и боли, но также о дружбе, верности и счастье рождения ребенка. Великий колумбийский роман о преодолении травм прошлого.

Книга публикуется в двух вариантах переводов на русский язык, с разными названиями и обложками. Издательство предоставляет читателю уникальную возможность выбрать свой перевод. Эту книгу перевела Маша Малинская, переводчица, преподавательница испанского языка, автор учебников.

Содержание

Предисловие	6
I. И, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной[2]	10
II. Не будет среди моих мертвых	59
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Хуан Габриэль Васкес

Шум падающих вещей

Juan Gabriel Vasquez

El ruido de las cosas al caer

© Juan Gabriel Vasquez, 2011

© Маша Малинская, перевод на русский язык, 2021

© Livebook Publishing, оформление, 2022

Предисловие

Роман колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкеса выходит сразу в двух переводах: Михаила Кожухова и Маши Малинской. Можно смело сказать, что это событие – единственное в своем роде. Чтобы издательство заказало сразу два перевода одного романа и одновременно выпустило их в свет – такого российский книжный рынок еще не видел.

Как же это произошло? Честный ответ: почти случайно, благодаря стечению обстоятельств. Такое решение издательства «Лайвбук» не было результатом продуманной стратегии, скорее – смелым и нестандартным выходом из запутанной ситуации. Но нам, читателям, эта случайность дает уникальный шанс увидеть сразу два прочтения яркой и сложной книги. Более того, если повезет – этот прецедент станет поворотным моментом в нашей культуре перевода и чтения зарубежной литературы.

Несмотря на то, что в последние десятилетия появляется много новых переводов популярных книг, отношение к повторным переводам в нашей стране довольно настороженное. В западных странах десятки переводов значимых книг – скорее норма; никому не придет в голову, что книгу перевели заново потому, что предыдущие пятнадцать переводов никуда не годятся. Однако советская эпоха приучила нас к идее, что нужен только один канонический, идеальный пере-

вод, который навсегда заменит и вытеснит оригинал. Единственная проблема этой прекрасной утопии состоит в том, что идеальный перевод невозможен. И все же мечта эта так соблазнительна, что мы продолжаем любой новый перевод воспринимать как результат конфликта: отрицание старого, ниспровержение основ.

Надо признать, что новые переводы действительно зачастую возникают из разного рода юридических неувязок (издательство не может найти правообладателя), меркантильных соображений (издательство не хочет платить деньги переводчику или его наследникам), маркетинговых планов (напишем «новый перевод» и купят больше экземпляров). Проблема для читателя заключается в том, что если авторские права на произведение не истекли, то издаваться будет только один перевод, а другой быстро станет библиографической редкостью, как произошло с набором первых переводов «Гарри Поттера».

А между тем как хорошо было бы, если бы одновременно лежал в магазинах и коллективный перевод, выпущенный впервые издательством «РОСМЭН», и перевод Маши Спивак – так, чтобы каждый читатель мог выбрать то, что ему по душе. Ведь нас совсем не удивляет, когда два или три театра одновременно ставят «Гамлета», и мы можем восхищаться всеми постановками одновременно. Мы готовы слушать музыкальное произведение в интерпретации разных исполнителей, смотреть разные экранизации одной и той же книги,

не пытаясь непременно выбрать только один вариант. Пора научиться подходить с той же меркой и к переводам.

Роман «Шум падающих вещей» (вариант Маши Малинской) или «Звук падающих вещей» (вариант Михаила Кожухова) вышел сразу в двух хороших переводах. Два талантливых человека – прекрасно знающих испанский язык и культуру Латинской Америки – одновременно перевели этот роман с любовью и тщанием, каждый из них передает голос автора так, как его услышал. Будучи людьми разных поколений, они следуют несколько разным представлениям о переводе и комментировании текста. Маша Малинская держится чуть ближе к оригиналу, не боится непривычного, в большей мере дает читателю почувствовать «чужестранность» авторского мира. Михаил Кожухов подробнее разъясняет культурные реалии, дарит читателю чуть большую гладкость, естественность, иллюзию близости. Мы вольны выбрать тот перевод, который нам созвучнее. А можем не выбирать и наслаждаться обеими версиями.

Александра Борисенко,

переводчик, доцент филологического факультета МГУ

*Мариане, изобретательнице времени и
пространства*

*И, разрушаясь, стены снов моих пылали,
Как с криком разрушался этот город.*

Аурелио Артуро, «Город грез»

Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»¹

¹ Пер. Норы Галь.

И. И, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной²

Первый бегемот, самец цвета черного жемчуга весом в полторы тонны, упал замертво в середине 2009 года. Двумя годами ранее он сбежал из бывшего зоопарка Пабло Эскобара в долине реки Магдалена. На воле он топтал посеvy, опустошал кормушки для скота, навoдил ужас на местных рыбаков, а однажды даже напал на быков с одной асьенды.

Снайперы настигли его и убили двумя выстрелами: один в голову, другой в сердце (стреляли пулями триста семьдесят пятого калибра³, потому что у бегемотов очень толстая кожа). Охотники позировали на фоне огромного мертвого тела, темной морщинистой глыбы, похожей на только что упавший метеорит. Укрывшись от беспощадного солнца в тени сейбы, они разъяснили фотогpафам и любопытствующим, что из-за огромного веса животное не получится перевезти целиком, и немедленно приступили к расчленению туши. Я находился у себя дома в Боготе, в двухстах пятидесяти километрах к югу, когда впервые увидел эту фотографию, за-

² Стихотворение колумбийского поэта Хосе Асунсьона Сильвы «Ноктюрн», цитируется в переводе М. Квятковской.

³ .375 *H&N Magnum*, или великий африканский калибр – популярный калибр для охоты на крупную дичь, разработанный в Великобритании в начале XX века. Британцы использовали его, отправляясь на сафари в колонии.

нимавшую полстраницы в одном популярном журнале. Из статьи я узнал, что внутренности закопали прямо на месте, а голову и ноги сдали в биологическую лабораторию в моем городе. А еще там говорилось, что бегемот сбежал не один: его сопровождали подруга и их детеныш – или же те, кого в наименее серьезных журналах из сентиментальных сообщений окрестили его подругой и детенышем. Их местонахождение оставалось неизвестным, поиски продолжались. В прессе эта история стремительно приобрела трагический оттенок: невинных животных преследует бездушная система. В те дни, следя за подробностями охоты, я вдруг вспомнил о человеке, которого не вспоминал давным-давно, хотя когда-то ничто не занимало меня сильнее, чем загадка его жизни.

В последующие недели образ Рикардо Лаверде из обыкновенной злой шутки, какие, случается, играет с нами память, превратился в упорного неумолимого призрака. Призрак стоял возле моей постели, пока я спал, а бессонными ночами глядел на меня издалека. Ведущие утренних радиопередач и вечерних новостей, газетные колумнисты, которых читали все, и блогеры, которых не читал никто, – все они задавались вопросом, так ли уж необходимо убивать заблудившихся бегемотов; быть может, их достаточно будет связать, усыпить, отправить обратно в Африку? Я в своей квартире, вдали от этих споров, следил за ними со смесью восторга и отвращения и все чаще думал о Рикардо Лаверде, о тех дав-

них днях, о том, сколь кратким было наше знакомство и как долго тянутся его последствия. В газетах и на экранах представители власти перечисляли болезни, которые распространяют парнопалые (они использовали именно это новое для меня слово, «парнопалые»), а в богатых районах Боготы то и дело мелькали футболки с надписью «Save the hippos»⁴. Я же у себя в квартире долгими дождливыми вечерами или по пути в центр снова и снова воскрешал в памяти день смерти Рикардо Лаверде и упрямо перебирал детали. Меня удивило, с какой легкостью всплывает в голове все сказанное, увиденное или услышанное, а также испытанная и уже преодоленная боль. С какой готовностью мы предаемся разрушительным упражнениям памяти, которые в конечном счете не приносят никакой пользы, а лишь усложняют наше нормальное существование, подобно мешочкам с песком, которые атлеты привязывают к ногам во время тренировок.

Постепенно и не без удивления я пришел к мысли, что смерть этого бегемота послужила завершением одного давнего эпизода в моей жизни, словно я вернулся домой, чтобы запереть дверь, которую, уходя, по рассеянности оставил открытой.

Так началась эта история. Никто не знает, зачем нам нужно вспоминать, какие это приносит нам награды или наказания, как меняется пережитое оттого, что мы о нем вспоминаем, но по-настоящему вспомнить Рикардо Лаверде вдруг

⁴ «Спасите бегемотов» (англ.).

стало мне совершенно необходимо. Я где-то читал, что в сорок лет мужчина должен рассказать историю своей жизни, и срок этот неуклонно приближается. Сейчас, когда я пишу эти строки, лишь несколько недель отделяют меня от роковой даты. *Историю своей жизни*. Нет, я не стану рассказывать историю моей жизни, а лишь опишу несколько очень далеких дней, отчетливо сознавая, что эта история, как говорится в сказках, случалась не раз и будет повторяться вновь и вновь.

И не так важно, что на сей раз рассказать ее выпало мне.

В день своей смерти в начале 1996-го Рикардо Лаверде провел все утро в центре Боготы, прогуливаясь по узким улочкам Ла-Канделарии⁵ среди старых, крытых черепицей домов с мраморными табличками, неведомо для кого воскрешавшими некие исторические события. Около часу дня он явился в бильярдную на Четырнадцатой улице, чтобы сыграть пару партий с тамошними завсегдатаями. В начале игры он не выглядел ни встревоженным, ни взволнованным. Играл тем же кием, что и всегда, за тем же столом, что и всегда, – возле дальней стены, под телевизором, работавшим без звука. Рикардо сыграл три партии, но не помню, сколько из них он выиграл, потому что в тот день я играл не с ним, а за соседним столом. Зато хорошо помню, как он рассчитался, распрощался с игроками и направился к двери в углу

⁵ Ла-Канделария – один из районов Боготы.

бильярдной; миновал несколько столов, которые обычно пустовали, потому что неоновый свет странно бликовал на шарах в этой части помещения, а затем вдруг словно споткнулся обо что-то, развернулся и направился обратно к нам. Он дождался, пока я доиграю шесть или семь уже начатых карамблей и даже коротко поаплодировал одному трехбортному удару. А потом, глядя, как я выставляю свои результаты на счетной доске, подошел поближе и спросил, не известно ли мне, где бы взять напрокат какое-нибудь устройство, чтобы послушать запись, которую только что получил. Я множество раз спрашивал себя, как бы все повернулось, если бы Рикардо Лаверде обратился не ко мне, а к кому-то другому. Но это бессмысленный вопрос, как и множество других, касающихся нашего прошлого. У Лаверде были свои причины обратиться именно ко мне. Этого уже не изменить, как не изменить и того, что произошло потом.

Мы познакомились годом раньше, за пару недель до Рождества. Мне вот-вот должно было исполниться двадцать шесть, два года назад я получил диплом адвоката, и, хотя мало знал о реальном мире, в мире юридических теорий для меня не было тайн. После выпуска с отличием (мой диплом был посвящен безумию в «Гамлете» как обстоятельству, освобождающему от уголовной ответственности; я и по сей день спрашиваю себя, как мне удалось сделать так, чтобы эту тему утвердили, не говоря уж о том, чтобы получить высокую оценку) я стал самым юным сотрудником нашей

кафедры за всю ее историю, по крайней мере, так сказали старшие коллеги, предлагая мне эту работу. Я был убежден, что преподавать введение в право и основы теории права испуганным детям, только-только покинувшим школьные парты, — единственная возможная перспектива в моей жизни. Стоя за деревянной кафедрой и созерцая ряды безбородых растерянных юнцов и восторженных девушек с широко раскрытыми глазами, я сам получил первые уроки, касающиеся природы власти. От новоиспеченных студентов меня отделяли лишь восемь лет, но между нами простиралась двойная пропасть — власти и знания. Я был наделен и тем и другим — они же, дети, едва начинавшие жить, ни тем ни другим не обладали. Они восхищались мной и немного меня побаивались, и я понял, что к этому страху и восхищению привыкаешь, будто к наркотикам. Я рассказывал студентам о спелеологах, которых завалило в пещере и которые несколько дней спустя, чтобы выжить, принялись поедать друг друга. На них распространяются нормы права? Я рассказывал им о старике Шейлоке⁶, о фунте мяса, который он хотел вырезать из тела должника, и о хитрой Порции, которая ловко разрешила спор при помощи казуистики. Мне забавно было видеть, как они вопят и размахивают руками, теряясь в нелепых спорах, пытаясь различить в хитросплетениях вымысла Закон и Справедливость. После этих ученых диспутов я отправлялся в бильярдную на Четырнадцатой улице, где под

⁶ Отсылка к пьесе Шекспира «Венецианский купец».

низкой крышей среди клубов дыма разворачивалась другая жизнь – без научных теорий и законовещения. Там я обычно завершал день за небольшими ставками и кофе с бренди, иногда в компании пары коллег, а иногда и с какой-нибудь студенткой, которая после нескольких стаканов оказывалась у меня в постели. Я жил неподалеку, на десятом этаже всегда было прохладно, оттуда открывался прекрасный вид на город, оштетинившийся кирпичом и бетоном, а постель моя всегда была открыта для интеллектуальных бесед о концепции наказаний Чезаре Беккариа⁷ или об особенно трудной главе Боденхеймера⁸ или даже просто для улучшения оценки самым очевидным способом. В те времена – теперь мне кажется, что это было с кем-то другим, – жизнь была полна возможностей. Потом я понял, что и возможности эти выпадали кому-то другому: они постепенно исчезали, отступали, словно вода во время отлива, пока не оставили меня там, где я нахожусь сейчас.

В те дни мой город начинал приходить в себя после самых жестоких лет своей истории. Я говорю не о дешевой поножовщине и не о случайных перестрелках, не о разборках между мелкими наркоторговцами, а о жестокости, которая выходит за пределы мелких обид и мелкой мести обычных

⁷ Чезаре Беккариа Бонезана – итальянский философ и юрист эпохи Просвещения, известный, в первую очередь, благодаря трактату «О преступлениях и наказаниях», в котором выступал за отмену смертной казни и других жестоких наказаний.

⁸ Речь идет об учебнике Эдгара Боденхеймера «Теория права».

людей, о жестокости, которую творят те, чьи имена принято писать с большой буквы: Государство, Картель, Армия, Национальный фронт. Мы, боготинцы, были к ней привычны, отчасти потому, что свидетельства о ней с пугающей регулярностью появлялись на страницах газет и на экранах телевизоров. В тот день выпуск новостей прервали ради экстренного сообщения с места последнего теракта. Вначале мы увидели журналиста, который вел репортаж, стоя у входа в клинику Country, потом изрешеченный пулями мерседес — через разбитое окно виднелось заднее сиденье в осколках и пятнах засохшей крови, — а уж потом, когда игроки за каждым столом замерли и затихли, когда кто-то крикнул, чтобы сделали погромче, мы увидели над датами рождения и совсем еще свежей смерти черно-белую фотографию жертвы. Это был Альваро Гомес, сын одного из самых неоднозначных президентов двадцатого века, политик-консерватор, который и сам не раз баллотировался в президенты. Никто не спросил, ни почему его убили, ни кто это сделал, потому что в моем городе такого рода вопросы больше не имели смысла или стали риторическими, их задавали, не надеясь на ответ, это была единственная возможная реакция на очередную пощечину. Тогда я об этом не думал, но такие преступления (пресса называла их «магницидами»⁹, и я быстро усвоил значение словечка) упорядочивали и отмеряли ход моей жизни, как неожиданные визиты дальнего родственника.

⁹ Убийство известного человека.

Мне было четырнадцать лет, когда в 1984 году Пабло Эскобар убил, а вернее, приказал убить самого известного из своих преследователей, министра юстиции Родриго Лару Бонилью (двое убийц настигли его на мотоциклах за поворотом 127-й улицы). Мне было шестнадцать, когда Эскобар убил, а вернее, приказал убить Гильермо Кано, редактора газеты «Эспектадор» (в нескольких метрах от здания редакции убийца всадил ему в грудь восемь пуль). Мне было девятнадцать, и я был уже взрослым, хоть пока еще ни разу не голосовал, когда погиб Луис Карлос Галан, кандидат в президенты страны. Его убийство было не похоже на все остальные, по крайней мере, так нам казалось, потому что мы увидели его по телевизору: улица, выступление Галана, его сторонники выкрикивают лозунги – и вдруг слышатся автоматные очереди, Галан падает на деревянный помост, падает беззвучно или просто звук падения тонет в гомоне толпы и первых криках. Вскоре после этого случилась история с самолетом «Авианки» Боингом-727-21, который Эскобар взорвал прямо в воздухе, где-то между Боготой и Кали, чтобы убить политика, которого, как оказалось, не было на борту.

Так что все мы, кто был в бильярдной, посокрушались о жертвах очередного преступления со смирением, ставшим уже нашей национальной чертой, отпечатком нашего времени, и вернулись к своим партиям. Все, кроме одного, не отводившего взгляда от экрана, где продолжались новости. Теперь там показывали арену для боя быков, заросшую сор-

няками до самых флагов (или, точнее, до места, где раньше можно было увидеть флаги), гараж, в котором ржавело несколько старых автомобилей, гигантского тираннозавра, чье туловище разваливалось на куски, обнажая затейливый металлический каркас, голый и печальный, как старый манекен. Это была асьенда «Наполес», знаменитое поместье Пабло Эскобара, бывшее когда-то главным штабом его империи и заброшенное после его смерти в 1993 году. В новостях говорили о собственности, изъятой у наркоторговцев, о миллионах долларов, попусту растраченных властями, которые не знают, как использовать эту территорию, обо всем, что можно было бы сделать, но чего не сделали с легендарным наследством Пабло Эскобара. И вот тогда один из игроков с ближайшего к телевизору стола заговорил, словно обращаясь к самому себе, но внезапно и громко, как человек, живущий в одиночестве и забывший, что его могут услышать:

– Интересно, как они поступят с животными. Бедняги там с голоду помирают, а всем хоть бы что.

Кто-то спросил, о каких животных он говорит, но он сказал лишь:

– Они-то в чем виноваты?

Это были первые слова, которые я услышал от Рикардо Лаверде. Больше он ничего не добавил: не объяснил, каких животных имел в виду и почему они помирают с голоду. Но никто не стал его расспрашивать, потому что все мы в силу возраста успели застать расцвет асьенды «Наполес». Зоо-

парк был легендарным местом, эксцентрической причудой наркобарона, обещавшей посетителям зрелища, невиданные в наших широтах. Я побывал там в двенадцать лет во время школьных каникул. Конечно же, тайком от родителей: сама мысль о том, что их сын ступит на землю знаменитого наркоторговца, показалась бы им возмутительной, не говоря уж о том, что ему может там понравиться. Но я не мог не увидеть того, что было у всех на устах. Я принял приглашение родителей одного из моих друзей, и как-то утром мы встали ни свет ни заря и за шесть часов добрались от Боготы до Пуэрто-Триунфо. Мы въехали сквозь каменные ворота (название асьенды было написано на них крупными синими буквами) и провели целый день среди бенгальских тигров, красных ара из Амазонии, карликовых лошадей и бабочек размером с ладонь. Увидели мы и пару индийских носорогов, которые, как нам объяснил парень в камуфляжном жилете, говоривший с местным антиокийским выговором, только-только прибыли в зоопарк. И, конечно, там были бегемоты, в те славные времена никто из них еще не сбежал с асьенды «Наполес». Так что я прекрасно понимал, что за животных имел в виду тот мужчина, но и подумать не мог, что именно эти слова воскресят его в моей памяти четырнадцать лет спустя. Конечно же, обо всем этом я задумался позже, а в тот миг Рикардо Лаверде для меня ничем не выделялся из множества моих соотечественников, в оцепенении наблюдавших за взлетом и падением одного из самых ярких колумбийцев всех времен;

тогда я не обратил на него особого внимания.

А еще я помню из того дня, что Лаверде выглядел не особенно внушительно: он был неправдоподобно худ и от этого казался высоким; лишь увидев его на ногах с кием в руке, можно было понять, что ростом он едва дотягивает до метра семидесяти. Его жидкие волосы мышиного цвета, сухая кожа и длинные, вечно грязные ногти наводили на мысль о болезни или заброшенности – той заброшенности, какая свойственна пустующим землям. Ему только исполнилось сорок восемь, но на вид я дал бы ему гораздо больше. Лаверде говорил с усилием, будто от нехватки воздуха, а руки у него были такие слабые, что синий кончик кия, нацеленный на шар, всегда дрожал, и каждый раз я изумлялся, как это он не промахивается. Все в нем говорило об усталости. Однажды, когда Лаверде уже ушел, один из его партнеров, мужчина того же возраста, который двигался и дышал гораздо лучше, который наверняка еще жив и, возможно, читает сейчас эти строки, без каких-либо вопросов с моей стороны открыл мне секрет Лаверде.

– Это из-за тюрьмы, – сказал он, блеснув золотым зубом. – В тюрьме человек устает.

– Он сидел?

– Только вышел. Двадцать лет сидел, говорят.

– А за что?

– А вот этого не знаю, – сказал мой собеседник, – но небось было за что, а? Такой срок просто так не впают.

Конечно, я ему поверил, потому что ничто не указывало на существование иной правды, поскольку не было никаких причин усомниться в этой первой наивной и куцей версии судьбы Рикардо Лаверде. Я подумал, что не знаю ни одного бывшего заключенного – даже это словосочетание «бывший заключенный» было мне внове – и мой интерес к Лаверде, или мое любопытство, только усилились. Долгий срок заключения не мог не впечатлить молодого человека, каким я был в те времена. Я подсчитал, что когда Лаверде посадили, я только-только научился ходить, и ведь трудно остаться равнодушным к такой мысли: ты растешь, получаешь образование, открываешь для себя секс, а затем и смерть (вначале смерть собаки, а потом, скажем, дедушки), с кем-то встречаешься, болезненно переживаешь разрывы, учишься принимать важные решения и в результате испытываешь удовлетворение или раскаяние, учишься причинять другим вред и в результате испытываешь удовлетворение или чувство вины – и все это время кто-то проводит в заключении, лишенный всяких впечатлений или открытий. Непрожитая жизнь, жизнь, ускользающая между пальцев, его собственная, им выстраданная жизнь, которой в то же время распоряжаются другие, те, кто ее не выстрадал.

Как-то незаметно мы с ним стали сближаться. Началось это случайно: я поаплодировал одному из его карамболей (ему отлично удавались удары от борта) и пригласил за свой стол или попросил разрешения присоединиться к нему. Он

согласился неохотно – так опытный мастер не любит брать подмастерье – хотя я играл лучше и с моей помощью Лаверде наконец-то перестал проигрывать. Но тогда же я понял, что проигрыши его не трогают: пара-тройка мятых грязных банкнот, которые он после игры выкладывал на изумрудный бархат, были запланированным и заранее одобренным расходом. Бильярд был для него не хобби и не соревнованием, а единственно возможным способом быть частью общества. Стук шаров, звук передвигаемых счетов и трение синего мелка о кожаную наклейку¹⁰ – из этого и состояла его социальная жизнь. За пределами бильярдной, без кия в руке, Лаверде был не способен поддерживать беседу, не говоря уж об отношениях. «Иногда мне кажется, – сказал он мне в тот единственный раз, когда мы беседовали всерьез, – что я никогда в жизни никому не смотрел в глаза». Конечно, это было преувеличение, но я не уверен, что он преувеличивал сознательно. В конце концов, говоря эти слова, он не смотрел мне в глаза. Сейчас, спустя столько лет, я понимаю то, чего не понимал тогда. Я вспоминаю этот разговор, и мне кажется невероятным, что я сразу не разглядел его важности (и в то же время я говорю себе, что мы ничего не понимаем в настоящем, возможно, потому что в действительности настоящего не существует; все – лишь воспоминания, и эта фраза, которую я только что написал, уже стала воспоминанием,

¹⁰ Чтобы кий не скользил во время удара, его натирают специальным мелом для бильярда.

как и это слово, которое ты, читатель, только что прочел). Год подходил к концу. Занятия кончились, начались экзамены. Игра в бильярд прочно закрепилась в моем распорядке дня, придавая ему форму и содержание. «А, Яммара, – каждый раз говорил Лаверде, – вы чудом меня застали, я как раз собирался уходить». Что-то в наших встречах постепенно менялось: я понял это, когда однажды вечером Лаверде не распрощался, как обычно, по-солдатски отдав честь с другой стороны стола, а дождался меня, позволил заплатить за все нами выпитое (четыре кофе с бренди и одну кока-колу) и вместе со мной вышел из заведения. Мы дошли до угла площади Росарио в облаке запахов канализации, выхлопных газов и жареных арепас¹¹, и там, где улица спускается в темную пасть подземной парковки, Лаверде потрепал меня по плечу – хрупкий хлопок хрупкой ладонью, жест скорее нежности, чем прощания – и сказал:

– Что ж, до завтра. У меня тут одно дело.

Я смотрел, как он лавирует между торговцами изумрудами и выкруливает в переулок, ведущий к Седьмой улице. Затем он пропал из виду. Город уже начали украшать к Рождеству: цветные лампочки, сахарные трости, английские словечки, силуэты снежинок – и это в Боготе, где снега не видели никогда в жизни, где декабрь – самый солнечный месяц в году. Днем выключенные гирлянды не украшали город, а закрывали небо, уродуя вид. Провода над нашими го-

¹¹ *Арепас* – лепешки из кукурузной муки.

ловами, натянутые с одной стороны улицы до другой, напоминали висячие мосты, а на площади Боливара взбирались на столбы, на стены собора, на ионические колонны Капитолия подобно лианам. Зато голуби с комфортом устраивались на проводах, а у продавцов кукурузы и уличных фотографов отбоя не было от клиентов. Старики в руанах¹² и фетровых шляпах подманивали прохожих, загоняя их словно скот, а потом фотографировали, накинув на голову черный плед, не потому, что этого требовало их ремесло, а потому, что этого от них ожидали. Фотографы эти были родом из тех времен, когда не всякий желающий мог запросто сделать автопортрет и идея купить на улице свою фотографию (которую частенько делали без ведома клиента) еще не казалась такой абсурдной. У каждого жителя Боготы определенного возраста есть такая уличная фотография, большинство из них были сделаны на Седьмой улице, бывшей улице Реаль-дель-Комерсио, королеве боготинских улиц. Мое поколение выросло, разглядывая эти фотографии в семейных альбомах, всех этих мужчин в костюмах с жилетами, всех этих женщин в перчатках и с зонтиками – людей другой эпохи, когда Богота была более холодной и дождливой, более домашней, но не менее суровой. Среди моих бумаг есть фотография, которую купил в пятидесятых мой дед, и еще одна, которую купил мой отец пятнадцать лет спустя. А вот той, что купил Рикардо Лаверде тем вечером, у меня нет, хотя я помню ее столь

¹² *Руана* – традиционная колумбийская шерстяная накидка.

ясно, что мог бы нарисовать во всех подробностях, если бы имел был талант к рисованию. Но у меня его нет. Это один из тех талантов, которых я лишен.

Так вот о каком деле говорил Лаверде. Расставшись со мной, он дошел до площади Боливар, там фотограф сделал его нарочито анахроничный портрет, и на следующий день Лаверде принес его в бильярдную: на бумаге цвета сепии, с подписью фотографа внизу был запечатлен мужчина, казавшийся менее печальным или замкнутым, чем обычно, мужчина, которого можно было бы назвать довольным, если бы сведения, всплывшие в последние месяцы, не опровергали столь опрометчивого вывода. Стол был все еще накрыт черной клеенкой, Лаверде положил на нее портрет, свой собственный портрет, и смотрел на него с восторгом: там он был аккуратно причесан, без единой складки на костюме, на протянутой вперед правой ладони сидели два голубя и клевали крошки. Позади угадывалась парочка любопытных, оба с рюкзаками и в сандалиях, а в глубине, в самой глубине фотографии, возле получившейся непропорционально большой тележки торговца кукурузой, виднелся Дворец юстиции.

– Очень хорошая фотография, – сказал я. – Это вас вчера сняли?

– Да, только вчера, – сказал он и тут же пояснил: – Моя супруга приезжает.

Он не сказал мне: «Это подарок». Не объяснил, почему такой странный подарок должен заинтересовать его супругу.

Не упомянул о годах, проведенных в тюрьме, хотя мне было очевидно, что это обстоятельство незримо парит надо всей историей, словно стервятник над умирающим псом. Но Рикардо Лаверде вел себя так, словно никто в бильярдной не подозревал о его прошлом. Я тут же почувствовал, что такое поведение поддерживает нас в состоянии хрупкого равновесия, и решил подыграть ему.

– Приезжает? – спросил я. – Откуда приезжает?

– Она американка, ее семья живет в Штатах. Она придет, скажем так, в гости. – И тут же: – Как вам фотография? Правда, хорошая?

– Очень хорошая, – сказал я невольно снисходительно. – Вы тут вышли очень элегантным, Рикардо.

– Очень элегантным, – повторил он.

– Так значит, ваша жена – гринга¹³.

– Представьте себе.

– И она придет на Рождество?

– Я надеюсь, – ответил Лаверде. – Надеюсь, придет.

– Почему надеетесь? Это не точно?

– Ну, для начала мне надо будет ее уговорить. Это долгая история, не просите, чтобы я вам все объяснил.

Лаверде снял со стола черную клеенку, но не одним рывком, как делали другие игроки, а сложил ее в несколько раз, тщательно, почти с нежностью, как складывают флаг на го-

¹³ Словом «гринго» в Латинской Америке называют жителей США. Часто оно может иметь пренебрежительный оттенок.

сударственных похоронах. Он нагнулся над столом, потом выпрямился, примерился получше – и после всех этих церемоний ударил не по тому шару.

– Вот дерьмо, – сказал он. – Прошу прощения.

Он подошел к счетной доске, спросил, сколько сыграл карамблей, сделал отметку кончиком кия и случайно поцарапал белую стену, оставив на ней продолговатое синее пятно возле других синих пятен, скопившихся на стене за долгое время.

– Прошу прощения, – повторил он.

Мысли его витали где-то в другом месте: движения и взгляд, устремленный на шары, медленно перекатывавшиеся по темному сукну, словно принадлежали кому-то, кто вдруг исчез, превратился в призрак. Я решил было, что Лаверде и его супруга в разводе, но вдруг меня озарило; мне пришла в голову другая версия, более драматичная и потому более увлекательная: его супруга не знала, что Лаверде вышел из тюрьмы. В краткий миг между двумя карамблями я представил себе человека, которого выпустили из столичной тюрьмы – я вообразил себе Окружную тюрьму, последнюю, где побывал, проходя курс криминологии, – и он решил держать это событие в секрете, чтобы сделать кому-то сюрприз. Этакий Уэйкфилд¹⁴ наоборот: хочет увидеть на лице един-

¹⁴ *Уэйкфилд* – герой одноименного рассказа Н. Готорна, который в один прекрасный день, сказав жене, что уезжает на неделю, исчез на двадцать лет. Все эти годы он жил совсем рядом, но считался погибшим.

ственного близкого человека то выражение любви и удивления, которое все мы хоть раз в жизни хотели увидеть и которого добивались при помощи хитрых уловок.

– А как зовут вашу супругу? – спросил я.

– Элена, – ответил он.

– Элена де Лаверде, – сказал я, словно взвешивая ее имя, прибавив к нему частицу, которую в Колумбии продолжали использовать почти все люди его поколения.

– Нет, – поправил меня Рикардо Лаверде. – Элена Фриттс. Мы не хотели, чтобы она брала мою фамилию. Современная женщина, знаете ли.

– А это современно?

– Тогда было современно. Не менять фамилию. А поскольку она гринга, люди ей это простили. – И он тут же добавил, с внезапно вернувшейся беспечностью: – Ну что ж, выпьем по одной?

Так мы и провели тот вечер – потягивая белый ром, оставлявший в горле привкус медицинского спирта. К пяти часам нам наскучило играть, так что мы оставили кии на столе, сложили шары в картонную коробку и уселись на деревянные стулья, как зрители, болельщики или просто усталые игроки, каждый со стаканом рома в руке, время от времени слегка взбалтывая его, чтобы перемешать со льдом и оставляя на стекле отпечатки потных пальцев, запачканных мелом. Отсюда мы могли обозревать барную стойку, вход в туалеты, телевизор и даже обсуждать партии за двумя соседними сто-

лами. За одним из них четверо игроков, которых мы никогда раньше не видели, в шелковых перчатках и с разборными киями, поставили за одну игру больше денег, чем мы с Лаверде ставили за месяц. Тогда-то, сидя рядом со мной, Рикардо Лаверде и сказал мне, что никогда никому не смотрел в глаза. И тогда же меня впервые озадачило глубокое противоречие: с одной стороны, его дикция и утонченные манеры, с другой – нескладный облик, очевидная бедность и даже само его присутствие в таком месте, где ищут стабильности люди, чья жизнь по какой-то причине стабильности лишена.

– Как странно, Рикардо, – сказал я. – Я же вас так и не спросил, чем вы занимаетесь.

– Не спросили, – ответил Лаверде. – И я вас тоже не спросил. Но я думаю, вы преподаватель, тут все преподаватели: в центре полно университетов. Вы ведь преподаватель, Яммара?

– Да. Преподаю право.

– Это хорошо, – сказал он с кривоватой улыбкой. – В этой стране не хватает юристов.

Мне показалось, что он добавит что-то еще, но он ничего не добавил.

– Но вы мне так и не ответили. Чем вы занимаетесь?

Он молчал. О чем он думал в те секунды, что пронеслось у него в голове... Теперь-то я понимаю: подсчеты, оправдания, умолчания.

– Я пилот, – сказал Лаверде. Такого голоса я у него нико-

гда раньше не слышал. — Точнее, был пилотом. А теперь я пилот на пенсии.

— Пилот чего?

— Того, что пилотируют пилоты.

— Ну да, но чего именно? Пассажирских самолетов? Патрульных вертолетов? Я же об этом ничего...

— Послушайте, Яммара, — произнес он медленно, но твердо. — Я не рассказываю свою жизнь кому придется. Сделайте мне одолжение, не путайте бильярд с дружбой.

Я мог бы обидеться, но не обиделся: в его словах за внешней и беспричинной агрессией прозвучала мольба. За грубой репликой сразу же последовало раскаяние, он просил примирения, как ребенок, который отчаянно пытается привлечь к себе внимание, и я простил ему грубость, как прощают ребенку. К нам то и дело подходил из-за стойки хозяин заведения дон Хосе, полный лысый мужчина в фартуке как у мясника, он наполнял наши стаканы ромом со льдом, а после тут же удалялся к себе, на алюминиевую скамью возле стойки, и углублялся в кроссворд из «Эспасио». Я думал об Элене де Лаверде, о супруге Лаверде. В такой-то день такого-то года Рикардо исчез из ее жизни и вошел в ворота тюрьмы. Но что же он сделал, чем это заслужил? Неужели жена не приехала к нему ни разу за все эти годы? И как бывший пилот оказался в бильярдной в центре Боготы, почему проматывает здесь деньги? Быть может, тогда в моей голове впервые пронеслась эта мысль, пусть и совсем неоформившаяся,

скорее, даже догадка. Потом я не раз к ней возвращался, облакая в самые разные слова, а порой и слова были не нужны: «Этот человек не всегда был этим человеком. Раньше этот человек был кем-то другим».

Когда мы вышли, уже стемнело. Я не вел учет выпитому в бильярдной, но помню, что ром ударил нам в голову и тротуары Ла-Канделарии вдруг сделались более узкими. Идти по ним было непросто: из тысяч офисов, расположенных в центре, высыпали люди, они направлялись домой, или заглядывали в магазины, чтобы купить подарки к Рождеству, или толпились на углу в ожидании автобуса. Выйдя из бильярдной, Рикардо Лаверде тут же налетел на женщину в оранжевом костюме (по крайней мере там, в желтом свете фонарей, он казался оранжевым). «Эй, смотри, куда идешь», – сказала ему женщина, и мне стало ясно, что отпустить его домой одного в таком состоянии было бы безответственно и даже рискованно. Я предложил проводить его, и он согласился или, по крайней мере, не выразил явного протеста. Несколько минут спустя мы уже шагали мимо запертых дверей церкви Ла-Бордадита. Толпа осталась позади, мы словно вошли в другой город в разгар комендантского часа. Сердце Ла-Канделарии – территория вне времени: из всех районов Боготы только здесь на некоторых улицах можно представить себе, какой была жизнь век назад. Во время этой прогулки Лаверде впервые заговорил со мной как с другом. Вначале я решил, что он пытается загладить вину за недавнюю беспричинную

грубость (алкоголь нередко пробуждает в людях раскаяние, глубокое чувство вины); но потом мне показалось, что им движет что-то еще, как будто ему срочно потребовалось что-то сделать, но что именно, я понять не мог. Я поддакивал ему, как поддакивают любому пьянице, когда он пускается в свои пьяные откровения.

– Эта женщина – все, что у меня есть, – заявил он.

– Елена? Ваша супруга?

– Это все, что у меня есть. Не просите подробностей, Яммара, нелегко говорить о своих ошибках. Я тоже совершал ошибки, как любой другой. И сам все испортил. Вообще всё. Вы молоды, Яммара, возможно, вы пока что не совершали серьезных промахов. Изменить своей девушке, переспать с девчонкой лучшего друга – я говорю не об этом, Яммара, это все детские игры. Я говорю о настоящих ошибках, которые вам еще не знакомы. И слава богу. Наслаждайтесь, Яммара, наслаждайтесь, пока можете: человек счастлив, пока не совершит одну из этих ошибок, а после стать собою прежним уже невозможно. Впрочем, это я проверю сам в ближайшие дни. Приедет Елена, и я попытаюсь стать собой прежним. Елена была единственной любовью в моей жизни. Мы расстались, мы не хотели этого, но расстались. Жизнь вынудила нас расстаться, так бывает. Я все испортил. Я все испортил, и нам пришлось расстаться. Но это не главное, послушайте меня, Яммара, главное – суметь все исправить. Хотя и прошло время, пусть даже много лет, никогда не поздно по-

чинить то, что ты когда-то сломал. Я сделаю это. Елена сейчас приедет, и я все исправлю, не бывает ведь непоправимых ошибок. Это произошло много лет назад, давным-давно. Вы еще не родились, думаю. Скажем, в семидесятом. В каком году вы родились?

– Как раз в семидесятом, – сказал я.

– Точно?

– Точно.

– Не в семьдесят первом?

– Нет, в семидесятом.

– Ну так вот. В том году произошло много всего. В последующие годы, конечно, тоже, но в семидесятом – особенно. Тот год изменил нашу жизнь. Я позволил жизни развести нас, но это не главное, Яммара, послушайте меня, главное – что произойдет сейчас. Елена скоро приедет, и я заглажу свою вину. Это не может быть так уж сложно, правда же? Мы все знаем кого-то, кто взял себя в руки и исправил свои ошибки, правда же? Или нет? Это я и хочу сделать. Исправить ошибки. Это наверняка не так уж сложно.

Вот что говорил мне тогда тогда Рикардо Лаверде. Мы дошли до его улицы, вокруг не было ни души. Было настолько пусто, что мы, сами того не замечая, вышли на середину мостовой. Навстречу нам проехала набитая старыми газетами повозка, влекомая тощим мулом, и мужчине, державшему вожжи (их роль исполняла узловатая веревка из агавы), пришлось свистнуть, чтобы не раздавить нас. Помню запах

навоза, хоть и не помню, чтобы мул испражнялся ровно в ту минуту, а еще помню взгляд мальчика, который ехал сзади – он сидел на деревянном полу, свесив ноги. А потом я хотел было попрощаться с Лаверде и застыл с протянутой рукой, как стоял Лаверде на фотографии с площади Боливар. Лаверде повернулся ко мне спиной, достал старинный ключ и сказал:

– Только не говорите, что собираетесь уходить. Давайте выпьем по последнему стаканчику, раз уж мы так хорошо беседуем.

– Я должен идти, Рикардо.

– Человек никому ничего не должен, разве что умереть в конце концов, – язык плохо повиновался ему. – Всего один стакан, обещаю вам. Раз уж вы оказались в этом богом забытом месте.

Мы стояли возле одноэтажного дома в колониальном стиле. За ним явно не ухаживали как за объектом культурного наследия, дом казался печальным и запущенным. Такие дома переходят от одного поколения к другому, пока семья постепенно беднеет, и в итоге последний в роду продает их, чтобы раздать долги, или сдает в аренду под пансион или бордель. Лаверде стоял на пороге, придерживая дверь ногой, застыв в хрупком равновесии, как умеют пьяные. В глубине я разглядел прихожую с кирпичным полом и самое крохотное патио, какое когда-либо видел. В центре, где обычно бывает фонтан, стояла сушилка для белья, а беленые стены при-

хожей были украшены календарями с изображениями обнаженных женщин. Я раньше бывал в подобных местах, так что мог без труда представить себе другие части дома. Я вообразил комнаты с зелеными деревянными дверями, запирающимися на огромный замок, комнаты, похожие на сараи, и в одном из таких сараев (три на два метра, сдается по понедельно) и жил Рикардо Лаверде. Но было уже поздно, и мне нужно было выставить оценки (нет отдыха от этой невыносимой университетской бюрократии), а гулять по такому району после определенного часа означало бы искушать судьбу. Лаверде был пьян, он ударился в откровения, которых я не предвидел, и в тот момент я осознал, что одно дело – спросить его, на чем он летал, и совсем другое – сидеть вместе с ним в крохотной комнатухе и выслушивать плач об утраченной любви. Такого рода близость, особенно с мужчинами, всегда давалась мне с трудом. И я подумал: все, что Лаверде хочет мне рассказать, он сможет рассказать и завтра, на свежем воздухе или в бильярдной, без пьяных уверений в дружбе, без рыданий у меня на плече и неуместных мужских откровений. Сегодня не последняя возможность, решил я, Лаверде же не забудет до завтра историю своей жизни. Так что я без особого удивления услышал собственный ответ:

– Нет, Рикардо, в другой раз.

Он на мгновение замер.

– Что ж, ладно, – сказал он. Если его разочарование и было велико, он этого не показал. Уже спиной ко мне, закрывая

за собой дверь, он повторил: – В другой раз.

Если бы только я знал тогда то, что знаю сейчас, если бы мог предвидеть, какой след Рикардо Лаверде оставит в моей жизни, конечно, я бы не ушел. Я часто спрашивал себя, как повернулись бы события, прими я его приглашение, что рассказал бы мне Лаверде, если б я зашел к нему выпить один последний стаканчик, который никогда не бывает последним, и как бы это повлияло на то, что произошло потом.

Но это все бессмысленные вопросы. Нет более пагубной привычки, более опасной прихоти, чем размышлять о дорогах, которые ты не выбрал.

После того вечера мы долго не виделись. Я пару раз заглядывал в бильярдную, но он, видимо, бывал там в другое время, а потом, когда мне вдруг пришло в голову, что можно было бы и зайти к нему в гости, оказалось, что он уехал. Я не знал ни куда, ни с кем. Просто однажды вечером Лаверде раздал в бильярдной все долги за игру и выпивку, объявил, что уезжает в отпуск, и на следующий же день испарился, как недолговечная удача в азартной игре. Я тоже перестал заходить туда, потому что в отсутствие Лаверде бильярд внезапно утратил для меня привлекательность. Университет закрылся на каникулы, обычная жизнь, крутившаяся вокруг кафедры и экзаменов, замерла, помещения опустели (ни голосов в аудиториях, ни суеты в кабинетах). В этот период за тишья Аура Родригес, моя бывшая студентка, с которой я бо-

лее или менее тайно и со всеми предосторожностями встречался уже несколько месяцев, сообщила мне, что беременна.

Аура Родригес. В хаосе ее фамилий встречались Альхуре и Адад, и ливанская кровь давала о себе знать: бездонные глаза, мостик густых бровей, высокий лоб – все это могло свидетельствовать о серьезности или даже дурном нраве в человеке менее открытом и приветливом. Ее щедрые улыбки и внимательный до неприличия взгляд уравнивали впечатление от ее черт, которые, как бы красивы они ни были (а они были красивы, очень красивы), временами становились суровыми и даже жесткими из-за слегка нахмуренных бровей или особой манеры приоткрывать рот в моменты напряжения или гнева. Аура мне нравилась, в том числе потому, что ее биография не имела ничего общего с моей, начиная с кочевого детства: родители Ауры, оба с карибского побережья, переехали в Боготу, как только она родилась, но так никогда и не обжились в этом городе хитрецов и лицемеров и несколько лет спустя приняли предложение поработать в Санто-Доминго, потом в Мексике, а потом, совсем недолго, в Сантьяго-де-Чили. Так и вышло, что Аура уехала из Боготы еще совсем маленькой, ее юность прошла словно в бродячем цирке, словно в неоконченной симфонии. Семья Ауры вернулась в столицу в 1994 году, несколько недель спустя после гибели Пабло Эскобара. Тяжелые годы уже прошли, и Аура выросла, не ведая о том, что видели и слышали мы, живя здесь. Чуть позже, когда девчушка-перекати-поле при-

шла поступать в университет, декан факультета во время собеседования задал ей тот же вопрос, что и всем остальным абитуриентам: почему именно право? Аура не сразу нашлась с ответом, но в итоге связала свой выбор не столько с будущим, сколько с недавним прошлым: «Чтобы осесть наконец в одном месте». Юристы могут работать только там, где учились, сказала Аура, и эта стабильность казалась ей непоколебимой. Тогда она об этом умолчала, но ее родители уже начали планировать следующее путешествие, она же решила, что не хочет в нем участвовать.

Так Аура осталась одна в Боготе. Вместе с парой девушек из Барранкильи она заселилась в квартиру с грошовой мебелью, где все, начиная с соседок, казалось временным, преходящим, и принялась изучать право. Она училась у меня в мой первый год, когда я сам еще был новичком; больше мы не встречались до конца года, хоть и ходили по одним и тем же коридорам, посещали одни и те же студенческие кафе в центре и даже как-то раз поздоровались то ли в «Legis», то ли в «Temis», в одном из этих двух книжных, специализирующихся на юриспруденции, с их атмосферой присутственного места и белым кафелем, пахнущим бюрократией и чистящим средством. Как-то в марте мы с Аурой столкнулись в кинотеатре на Двадцать четвертой улице. Нам показалось забавным, что мы оба пришли в одиночестве посмотреть черно-белое кино (это была ретроспектива Бунюэля, тем вечером показывали «Симеона-пустынника», я уснул

через пятнадцать минут). Мы обменялись телефонами, договорившись на следующий день выпить кофе, а на следующий день бросили кофе недопитым, потому что посреди беседы, полной банальностей, поняли, что хотим не пересказывать собеседнику свою биографию, а оказаться там, где сможем заняться любовью и провести остаток вечера вдвоем, разглядывая тела друг друга, которые каждый из нас рисовал в воображении с тех самых пор, как мы впервые встретились в целомудренной прохладе аудитории. Я помнил хриплый голос и худые ключицы; меня удивили веснушки между грудей (я представлял себе гладкую кожу, как на лице) и губы, вечно холодные по неизвестной науке причине.

Но затем неожиданности, исследования, открытия и заблуждения уступили место чему-то другому, возможно, еще более удивительному и неожиданному. В последующие дни мы постоянно виделись и обнаружили, что эти тайные встречи ничего не меняют в мире каждого из нас ни к лучшему, ни к худшему, что наши отношения не затрагивают практических сторон нашей жизни, а просто сосуществуют с нами, словно параллельная дорога, словно история из телесериала. Мы поняли, как мало знаем друг о друге, – или, по крайней мере, я это понял. Я постепенно открывал для себя Ауру, эту незнакомую женщину, которая по вечерам ложилась со мной в постель и принималась рассказывать истории из своей или чужой жизни, создавая совершенно новый для меня мир, где в доме у подруги могло пахнуть головной болью, а на вкус

головная боль была как мороженое из гуанабаны. «Я как будто сплю с женщиной, страдающей синестезией», – говорил я. Никогда раньше я не видел, чтобы перед тем, как открыть подарок, его подносили к носу, хотя было ясно, что внутри пара туфель или кольцо, простенькое несчастное колечко.

– Чем пахнет кольцо? – спрашивал я Ауру. – Ничем не пахнет на самом деле. Но тебе это объяснить невозможно.

Подозреваю, что мы могли бы продолжать в том же духе всю жизнь, но за пять дней до Рождества Аура явилась ко мне, таща за собой красный чемодан на колесиках со множеством карманов.

– Я на седьмой неделе, – сказала она. – Хочу провести праздники с тобой, а потом решим, как быть дальше.

В одном из карманов оказались электронный будильник и пенал, но не с карандашами, как я решил поначалу, а с принадлежностями для макияжа, в другом – фотография ее родителей, которые к тому моменту обосновались в Буэнос-Айресе. Она достала фотографию, положила ее лицом вниз на одну из двух тумбочек, и только когда я согласился, что это отличная идея – провести каникулы вместе, она ее перевернула. И тогда – этот образ жив в моей памяти – она бросилась на мою заправленную постель, закрыла глаза и заговорила.

– Никто мне не верит, – произнесла она.

Я решил, что она говорит о беременности, и переспросил:

– Кто не верит? Кому ты рассказала?

– Когда я говорю о моих родителях, – сказала она, – мне не верят.

Я улегся рядом с ней, подложил руки под голову и приготовился слушать.

– Мне не верят, например, когда я говорю, что не понимаю, зачем родители меня родили, если им было достаточно друг друга. Им до сих пор достаточно друг друга, им друг друга хватает. У тебя такое было? Ты когда-нибудь чувствовал рядом с родителями, что ты здесь лишний? У меня так часто бывает, точнее, бывало, пока я не стала жить одна. Это так странно: ты вдруг замечаешь, как твои родители переглядываются, и ты уже знаешь этот взгляд, они оба умирают от смеха, а ты не понимаешь, над чем они смеются, и, хуже того, не чувствуешь за собой права спросить. Я давным-давно выучила этот взгляд, Антонио, это не просто взгляд сообщников, это гораздо глубже. В детстве я видела его не раз в Мексике и Чили. Например, за едой, когда за столом сидел кто-то, кто им не нравился, но кого они все равно приглашали, или на улице, когда они с кем-то встречались и этот кто-то нес чушь. За несколько секунд до я говорила себе: «Сейчас будет этот взгляд», – и действительно, несколько секунд спустя они приподнимали брови, встречались глазами, и на лицах у них появлялась та самая улыбка, которой никто больше не видел. Так они смеялись над другими (я никогда не видела, чтобы кто-то еще так смеялся над другими). Как можно улыбнуться так, чтобы твоей улыбки никто не заметил?

Они умели, Антонио, клянусь тебе, я не преувеличиваю, я выросла среди этих улыбок. Почему они так меня бесили? Почему они до сих пор так меня бесят?

В ее словах не было грусти, лишь раздражение или, скорее, досада. Досада человека, который по невнимательности или по рассеянности попался на чью-то удочку, да, именно, досада человека, позволившего себя обмануть.

– Я тут кое-что вспомнила, – продолжала она. – Мне было лет четырнадцать или пятнадцать, мы вот-вот должны были уехать из Мексики. Была пятница, учебный день, а я решила прогулять учебу вместе с подружками, которым было неохота идти на географию или математику. Мы шли по парку Сан-Лоренсо, неважно, как он назывался. И тут я увидела мужчину, очень похожего на моего отца, но в другой машине. Он притормозил на углу, и в машину села женщина, очень похожая на мою мать, но в другой одежде и с рыжими волосами. Все происходило на другом конце парка, и им ничего не оставалось, кроме как медленно развернуться и проехать мимо нас. Не знаю, о чем я думала, когда принялась махать им, чтобы притормозили, но сходство было потрясающее. Мы все застыли, я на тротуаре, машина на проезжей части, и вблизи я сразу же поняла, что это они, мама с папой. Я улыбнулась им, спросила, что происходит, а дальше случилось что-то странное: они взглянули на меня и заговорили со мной как с незнакомкой, как будто никогда раньше меня не видели. Как будто я была одной из моих подруг. Потом я

догадалась, что это была игра: муж снимает на улице дорожную проститутку. Это была игра, и они не могли допустить, чтобы я ее испортила. Тем вечером все было как обычно: мы поужинали, посмотрели телевизор. Они не сказали ни слова. Я несколько дней думала о том, что это было, все никак не могла понять и чувствовала себя очень странно. Я чувствовала страх, но чего было бояться, разве это не абсурд?

Она втянула воздух сквозь сжатые губы и зубы и прошептала: – А теперь у меня будет ребенок. Не знаю, готова ли я, Антонио. Я не знаю.

– Я думаю, да, – сказал я, тоже шепотом, насколько помню. И помню, что добавил: – Перевози свои вещи, мы с тобой готовы.

Аура заплакала, она пыталась сдержаться, но плач стих, лишь когда она уснула.

Конец 1995 года был обычным для здешних мест: сияющее голубое небо над Андскими высокогорьями, ночные холода, когда температура падает до нуля и сухой воздух обжигает посевы картофеля и цветной капусты, а днем, наоборот, стоит жара, так что скулы и затылок обгорают на солнце. Я полностью посвятил себя Ауре с основательностью – нет, с одержимостью – подростка. Днем мы гуляли, как предписывал врач, потом она отдыхала, а я читал убогие исследовательские работы, а затем мы смотрели кино, которое появлялось у пиратов за несколько дней до официальной премьеры в прокате. По вечерам мы ходили на рождественские но-

вены¹⁵ к моим родственникам или друзьям, танцевали, пили безалкогольное пиво, поджигали петарды и запускали фейерверки, которые с цветным треском рассыпались в желтоватом небе ночного города, в небе, чья темнота никогда не бывает абсолютной. И ни разу, ни разу я не спросил себя, чем занимается в эту секунду Рикардо Лаверде, читает ли он молитвы, поджигает ли петарды, запускает ли фейерверки, один или с кем-то.

Туманным и пасмурным утром после одной из таких вечеринок мы с Аурой пошли на наше первое УЗИ. Аура чуть не отменила запись, и отменила бы, если бы потом не надо было еще двадцать дней ждать сведений о состоянии ребенка, что было бы весьма рискованно. Это было не обычное утро 21 декабря, оно не походило на 21 декабря любого другого года: еще ночью радио и газеты сообщили, что рейс 965 American Airlines из Майами в Кали (место назначения – международный аэропорт имени Альфонсо Бонильи Арагона) врезался в западный склон горы Эль-Дилувио. На борту было сто пятьдесят пять пассажиров, многие из которых летели не в Кали, а просто должны были сделать там пересадку на последний ночной рейс в Боготу. К моменту выхода новостей насчитывалось всего четверо выживших, все с тяжелыми травмами, и этой цифре не суждено было вырасти. Подробности (само-

¹⁵ *Новень* – одна из колумбийских рождественских традиций. В течение девяти дней, с 16-го по 24-е декабря, семьи (а иногда и коллеги или прихожане одной церкви) собираются вместе за праздничным столом и каждый день читают определенный набор молитв.

лет – Боинг 757; ночь была ясная и звездная; возможно, вмешался человеческий фактор) я узнал из новостей. Я скорбел об этом происшествии, сочувствовал, насколько был способен, людям, которые ждали родственников к себе на праздники, и тем, что, сидя в самолете, вдруг поняли, что не долетят, что проживают свои последние секунды. Но это было мимолетное, эфемерное сочувствие, которое полностью рассеялось, когда мы с Аурой зашли в узкий кабинет и там – Аура лежала на кушетке без рубашки, а я стоял рядом, – глядя на экран, узнали, что у нас будет девочка (Аура с самого начала пребывала в непостижимой уверенности, что это девочка) и что она, на данный момент ростом семь миллиметров, может похвастаться отменным здоровьем. На черном экране появилось нечто вроде сияющей вселенной, хаотичное созвездие в постоянном движении. Там, сказала нам женщина в белом халате, и сидит наша девочка. Этот остров в море, каждый из его семи миллиметров, это и есть она. В электрическом свете экрана я увидел, что Аура улыбается, и боюсь, что не забуду ее улыбки, пока я жив. Она провела пальцем по животу, собрав голубой гель, который использовала медсестра, а потом поднесла к носу, чтобы понюхать и классифицировать по законам своего мира, и наблюдать за ней было непостижимо приятно, как найти на улице монету.

Вряд ли я думал о Рикардо Лаверде там, во время УЗИ, когда мы с Аурой, совершенно остолбенев, слушали, как быстро бьется сердце девочки. Вряд ли я думал о Рикардо

Лаверде, когда мы с Аурой принялись выписывать женские имена прямо на белом больничном конверте, в котором нам выдали результаты УЗИ. Вряд ли я думал о Рикардо Лаверде, когда зачитывал эти результаты вслух, когда мы узнали, что плацента крепится к задней стенке матки, а наша дочь имеет форму нормального овала (услышав эти слова, Аура принялась дико хохотать прямо посреди ресторана). Вряд ли я думал о Рикардо Лаверде, даже когда мысленно составлял список всех знакомых мне отцов девочек, чтобы проверить, оказывает ли рождение дочери какое-либо прогнозируемое влияние на людей, и чтобы найти себе советчиков или даже поддержку, словно тогда уже понял, что начинается самое яркое, самое загадочное, самое непредсказуемое приключение из всех, выпавших на мою долю. По правде говоря, я точно не помню, о чем, кроме своего будущего отцовства, думал в тот день или, скорее, в те дни, пока весь мир неспешно и лениво перетекал из одного года в другой. Я ждал дочь, в свои двадцать шесть лет я ждал дочь, и в водовороте юношеских мыслей мне приходил в голову только мой собственный отец, у которого к этому возрасту уже были мы с сестрой, а ведь первая беременность моей матери закончилась потерей ребенка. Я тогда еще не знал о польском романисте, который много лет назад описал «теневую черту»¹⁶, момент, когда молодой человек становится хозяином собственной жизни, но именно это я ощущал, пока у Ауры в животе росла моя дочь.

¹⁶ «Теневая черта» – повесть Джозефа Конрада, написанная в 1915 году.

Я чувствовал, что вот-вот стану новым незнакомым существом, чьего лица я пока не вижу, чьей мощи не могу измерить, а еще я чувствовал, что после этой метаморфозы пути назад не будет. А если сказать иначе, безо всей этой таинственности: я чувствовал, что на меня свалилась ответственность за что-то очень важное и одновременно очень хрупкое, и удивительным образом я ощущал себя готовым к этой ответственности. Теперь мне не кажется странным, что тогда я слабо представлял себе жизнь в реальном мире: моя прихотливая память лишила эти дни какого-либо смысла, не связанного с беременностью Ауры.

Тридцать первого декабря по пути на новогоднюю вечеринку Аура перебирала список имен. У нее в руках была желтая страница, разлинованная красным, с двойными зелеными полями, вся исчерканная, с комментариями на полях. Мы привыкли брать ее с собой и доставать в эти мертвые часы – в очереди в банке, в зале ожидания, в знаменитых боготинских пробках – когда другие читают журналы и воображают чужие жизни или лучшие версии своей собственной. Из длинного списка возможных имен проверку выдержали лишь несколько, каждое сопровождалось комментарием, причем в некоторых будущая мать высказывала сомнения.

Мартина (но это имя для теннисистки)

Карлота (но это имя для императрицы)

Мы двигались по шоссе на север, проехали под мостом,

миновали Сотую улицу. Впереди произошла авария, так что движение почти полностью прекратилось. Ауру это все, похоже, совершенно не волновало, она была поглощена выбором имени для нашей дочери. Неподалеку завизжала сирена скорой. Я посмотрел в зеркала заднего вида, ища красную мигалку, чтобы уступить дорогу, но ничего не увидел. И тогда Аура сказала:

– А как тебе Летисия? Кажется, так звали одну из моих прабабушек.

Я повторил это имя пару раз, его длинные гласные, его согласные, в которых смешивались твердость и уязвимость.

– Летисия. Да, мне нравится.

В общем, в первый рабочий день нового года я явился в бильярдную на Четырнадцатой улице другим человеком, и когда я увидел Рикардо Лаверде, в душе у меня была лишь симпатия к нему и к его супруге, Элене Фриттс, и я от всей души – даже удивительно, насколько сильно – надеялся, что их встреча на каникулах прошла превосходно. Рикардо уже начал играть, так что я присоединился к игре за другим столом. Лаверде не глядел на меня; он вел себя так, словно мы виделись накануне. Я решил, что в какой-то момент посетители начнут расходиться, а постоянные клиенты неизбежно окажутся вместе за одним столом, как в игре, когда дети бегают вокруг стульев. Мы с Рикардо Лаверде сойдемся, немного поиграем, а потом, если повезет, вернемся к тому

разговору. Но все вышло не так. Он закончил игру, вернул кий на место и направился было к двери, но передумал и подошел к моему столу. Лоб у него был весь в поту, лицо заливала усталость, и все же ничто в его приветствии меня не насторожило.

– С Новым годом! – сказал он мне еще издалека. – Как вы провели праздники?

Но ответить не дал, прервал меня, и что-то в его тоне и жестах подсказало мне, что это был риторический вопрос, пустая любезность, обычная среди жителей Боготы, не требующая искреннего или обдуманного ответа. Лаверде достал из кармана черную кассету, на вид довольно древнюю, с единственным опознавательным знаком – оранжевой этикеткой с надписью «BASF». Он показал мне ее едва заметным движением, почти не поднимая руки, словно торговец контрабандой, наркотиками напротив суда или изумрудами на площади.

– Слушайте, Яммара, мне нужно прослушать вот это. Вы не знаете, у кого может быть устройство?

– Может, у дона Хосе есть магнитофон?

– Нет, ничего у него нет, а дело срочное. – Он нетерпеливо потербил кассету. – И личное.

– Тут в паре кварталов есть одно место, можно попробовать попросить у них.

Я имел в виду Дом поэзии, где раньше жил поэт Хосе Асунсьон Сильва, а теперь там открыли культурный центр и

проводили лекции и мастер-классы. Я туда частенько захаживал во время учебы в университете. Один из залов центра был уникальным местом: любители изящной словесности всех мастей стекались туда, усаживались на мягкие кожаные диваны возле довольно-таки современных музыкальных центров и до изнеможения слушали легендарные записи: Борхес читает Борхеса, Маркес читает Маркеса, Леон де Грейфф читает Леона де Грейффа. Сильва и его произведения в те дни были у всех на устах, потому что в только что начавшемся 1996 году должны были отмечать сто лет со дня его самоубийства. «В этом году, – прочел я в колонке одного известного журналиста, – ему воздвигнут памятники по всему городу, и все политики станут повторять его имя, и все будут читать наизусть „Ноктюрн“, и все понесут цветы к Дому поэзии. А Сильве, где бы он ни был, это покажется забавным: ханжеское общество, которое столько раз унижало его, которое при любой возможности тыкало в него пальцем, теперь вдруг воздает ему почести, словно главе государства. Представители правящего класса нашей страны, лгуны и лицемеры, всегда любили присваивать культуру себе. Так будет и с Сильвой: они присвоят память о нем. А те, кто на самом деле читает его, весь год станут спрашивать себя, когда же Сильву наконец оставят в покое». Вполне вероятно, что я решил отвести Лаверде в культурный центр именно потому, что эта колонка всплыла в моем сознании (где-то в темном углу, в самой-самой глубине его, в хранилище ненужных ве-

щей).

Мы прошли два квартала молча, упираясь взглядом то в разбитый бетон тротуара, то в далекие темно-зеленые холмы, ошетилившиеся эвкалиптами и телефонными столбами, как чешуйчатые ящерицы. Мы поднялись по ступенькам крыльца, и Лаверде пропустил меня вперед: он никогда раньше не бывал в подобных местах и держался подозрительно, недоверчиво, словно животное, почуявшее опасность. В диванном зале сидела парочка школьников, они слушали вдвоем одну запись, то и дело переглядывались и непотребно хихикали, а еще там был мужчина в костюме и галстук, с полинялым кожаным чемоданчиком на коленях, бессовестно храпящий. Я объяснил ситуацию сотруднице культурного центра, привычной и к более экзотическим просьбам. Она бросила на меня взгляд раскосых глаз, похоже, распознала во мне бывшего частого гостя и протянула руку.

– Ну, показывайте, – сказала она без энтузиазма, – что вы там хотите поставить.

Лаверде отдал ей кассету с видом человека, решившего сдаться, и я увидел его пальцы, запачканные синим мелом из бильярдной. С покорностью, которой я в нем никогда раньше не наблюдал, он сел на указанное женщиной кресло, надел наушники, откинулся на спинку и закрыл глаза. Я тем временем принялся искать, чем бы заняться, пока жду Лаверде, и рука моя как-то сама собой вытащила кассету со стихотворениями Сильвы, как могла бы вытащить любую другую (види-

мо, действовала магия годовщины). Я тоже уселся в кресло, взял наушники и надел их, чувствуя, что отдаляюсь от реальной жизни, начинаю существовать в другом измерении. И когда зазвучал «Ноктюрн», когда незнакомый мне голос – баритон, впадающий в излишнюю мелодраматичность – произнес первую строку, которую любой колумбиец хоть раз в жизни читал вслух, – я увидел, что Рикардо Лаверде плачет. «Давней ночью, ночью, полной ароматов»¹⁷, – декламировал баритон под фортепианный аккомпанемент... – а в нескольких шагах от меня Рикардо Лаверде, не слыша слов, которые слышал я, утирал глаза тыльной стороной ладони, а потом и рукавом – «полной шепота и плеска птичьих крыльев». Плечи Рикардо Лаверде вздрагивали; он опустил голову и молитвенно сложил руки. «Наши тени – легким, стройным силуэтом, – декламировал мелодраматичный баритон, – наши тени, обрисованные белым лунным светом». Я не знал, смотреть мне на Лаверде или нет, оставить наедине с его горем или подойти и спросить, в чем дело. Помню, я подумал, что могу по крайней мере снять наушники и таким образом открыть ему путь ко мне, пригласить к беседе. И помню, что решил этого не делать, что предпочел остаться в покое и безопасности своей записи, на которой печальное стихотворение Сильвы навевало легкую тихую грусть. Я подумал, что скорбь Лаверде полна опасностей, я испугался того, что таила в себе эта скорбь, но интуиция подвела меня, и я не понял,

¹⁷ Стихотворение «Ноктюрн» цитируется в переводе М. Квятковской.

что произошло. Я не вспомнил о женщине, которую ждал Лаверде, не вспомнил ее имени и не связал его с самолетом, разбившимся у Эль-Дилувио, я просто остался на своем месте, в своих наушниках, пытаюсь не нарушить горя Рикардо Лаверде, я даже прикрыл глаза, чтобы не побеспокоить его нескромным взглядом, чтобы среди других людей он мог побыть один. В моей голове, и только в моей голове, Сильва декламировал: «...И, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной». Там, где царили его голос и стихи, обволакиваемые декадентской фортепианной мелодией, я и провел все это время, которое длится и длится в моей памяти. Те, кто привык слушать стихи, знают, как это бывает: время, отмеряемое строками, как метрономом, странным образом растягивается и рассеивается, сбивая нас с толку, словно во сне.

Когда я открыл глаза, Лаверде рядом уже не было.

– Куда он ушел? – спросил я, не сняв наушников. Мой собственный голос донесся до меня издалека, и я поступил нелепо: снял наушники и повторил свой вопрос, словно в первый раз женщина его не расслышала.

– Кто? – спросила она.

– Мой друг, – ответил я. Я впервые так назвал его и вдруг почувствовал себя глупо: нет, Лаверде не был моим другом. – Он вот здесь сидел.

– Не знаю, он ничего не сказал, – ответила она, повернулась и принялась инспектировать музыкальный центр. С недоверием, словно я предъявлял ей какие-то претензии, она

добавила: — А кассету я ему вернула, ясно? Можете у него сами спросить.

Я вышел из зала и быстро обошел все помещение. В центре дома, в котором Хосе Асунсьон Сильва провел свои последние дни, располагалось светлое патио, отделенное окнами от обрамлявших его галерей; во времена поэта окна не были застеклены, а теперь стекла защищали посетителей от дождя; мои шаги отдавались эхом в этих молчаливых галереях. Лаверде не было ни в библиотеке, ни на одной из деревянных скамей, ни в конференц-зале. Видимо, он ушел. Я подошел к узкой входной двери, миновал охранника в коричневой форме (в своей кепке набекрень он смахивал на драчуна из кино), комнату, где сто лет назад поэт пустил себе пулю в грудь, и, выйдя на Четырнадцатую улицу, увидел, что солнце уже скрылось за зданиями Седьмой и робко загораются желтые фонари. А еще я увидел в паре кварталов от меня Рикардо Лаверде, его поникшую голову и длинное пальто; он уже подходил к бильярдной. «Стали тенью нераздельной», — подумал я. Каким-то нелепым образом стихотворение вернулось ко мне, и в эту самую секунду я заметил мотоцикл, который до этого просто стоял на тротуаре. Может, он бросился мне в глаза, потому что и водитель, и пассажир вдруг сделали едва заметное движение: пассажир поставил ноги на подножки, рука его исчезла под курткой. Оба, естественно, были в шлемах; у каждого — темный козырек, словно огромный прямоугольный глаз посреди огромной головы.

Я громко окликнул Лаверде, но не потому, что уже почувствовал: с ним что-то произойдет; не потому, что захотел предупредить его. В тот момент я хотел лишь спросить, все ли с ним в порядке, и, быть может, предложить ему помощь. Но Лаверде меня не слышал. Я зашагал быстрее, лавируя между прохожими на узком тротуаре высотой в пару ладоней. Иногда мне приходилось спускаться с тротуара на проезжую часть, в голове у меня вертелось «и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной», будто навязчивый мотив, от которого никак не получается избавиться. На углу Четвертой улицы, по направлению к проспекту Хименеса, машины стояли в плотной вечерней пробке. Я перебежал дорогу перед зеленым автобусом, автобус включил фары, и все вокруг словно ожило: уличная пыль, дым выхлопных труб, начинающийся дождь. Как раз о дожде и о том, что скоро мне нужно будет где-то от него спрятаться, я и думал, когда наконец догнал Лаверде, точнее, подошел так близко, что смог увидеть, как от капель дождя потемнели плечи его пальто.

– Все будет хорошо, – сказал я.

Глупости: я не знал ни что такое «все», ни уж тем более, будет оно хорошо или нет. Рикардо посмотрел на меня, лицо его было искажено от боли.

– Там была Елена, – сказал он.

– Где? – спросил я.

– В самолете, – ответил он.

В следующие несколько секунд я вообразил, что Ауру зо-

вут Эленой, представил себе Элену с лицом Ауры и ее беременным телом, а еще в тот момент я ощутил что-то новое, что еще не могло быть страхом, но уже очень на него походило. Одновременно я увидел, как мотоцикл спрыгивает с тротуара, привстав на дыбы, словно конь, и подъезжает к нам, будто турист, который хочет спросить дорогу, и ровно в тот миг, когда я взял Лаверде под руку, когда моя ладонь ухватилась за рукав его пальто в районе левого локтя, я разглядел безликие головы, обращенные к нам, пистолет, надвигающийся на нас, как металлический протез, и пару вспышек, услышал хлопки и почувствовал резкое движение в воздухе. Я помню, как поднял руку, чтобы защититься, и тут же внезапно ощутил вес собственного тела, и ноги перестали держать меня. Лаверде упал на землю, я упал рядом с ним, оба тела упали бесшумно, люди вокруг стали кричать, а в ушах у меня началось непрекращающееся жужжание. Какой-то мужчина подошел к телу Лаверде и попытался поднять его, и я помню свое удивление, когда другой попытался помочь мне.

– Я в порядке, – сказал я (или так мне это запомнилось), – со мной все нормально.

Лежа на земле, я видел, как еще кто-то выскочил на дорогу, размахивая руками, будто терпел кораблекрушение, и встал перед белым пикапом, который поворачивал на углу. Я произнес имя Рикардо – один раз, другой; почувствовал жар в животе, в голове молниеносно мелькнула мысль, что

я обмочился, но я тут же обнаружил, что это не моча пропитывает мою серую футболку. Несколько мгновений спустя я потерял сознание, но последний образ все еще ярок в моей памяти: какие-то люди несут меня, с усилием затаскивают в машину и кладут возле Лаверде, словно одну тень возле другой, оставив на металле кровавое пятно, которое в этот час, когда света уже совсем мало, кажется черным, как ночное небо.

II. Не будет среди моих мертвых

Я знаю, хоть и не помню этого, что пуля прошла сквозь живот, не задев органов, но сжигая по пути нервы и ткани, и в конце концов угнездилась в моей бедренной кости, на расстоянии одной ладони от позвоночника. Я знаю, что потерял много крови и что, несмотря на теоретическую универсальность моей группы, запасы крови в больнице Сан-Хосе были в те дни очень скудны или же спрос на нее среди злосчастного населения Боготы был чрезмерно высок, так что моим отцу и сестре пришлось стать донорами, чтобы спасти мне жизнь. Я знаю, что мне повезло. Все принялись твердить об этом, стоило мне прийти в себя, но я и сам это знаю, я чувствую. Понимание выпавшей мне удачи, насколько я помню, стало одним из первых признаков возвращения ко мне сознания. При этом я совсем не помню операций, которые мне делали в первые три дня: они полностью исчезли, стерлись под действием наркоза, то накатывавшего, то отступавшего. Я не помню галлюцинаций, но помню, что они были; не помню, как упал с постели, испугавшись одного из своих видений и сделав резкое движение, не помню, как меня привязали к кровати, чтобы такое больше не повторилось, зато отлично помню дикую клаустрофобию, чудовищное осознание собственной уязвимости. Я помню жар и пот, заливавший по ночам все мое тело, так что сиделкам приходилось менять

мне простыни, помню боль в горле и в углах пересохших губ, когда я попытался выдернуть трубку, через которую дышал; помню звук своих собственных криков и знаю, хоть и не помню этого, что они пугали других пациентов с моего этажа. То ли сами пациенты, то ли их родные пожаловались, меня перевели в другую палату, и в этой новой палате в краткий миг просветления, я спросил об участии Рикардо Лаверде и узнал (не помню, от кого), что он погиб. Я не помню, чтобы эта новость меня опечалила, а может, я, как обычно, связал свои слезы не с ней, а с физической болью; в любом случае я знаю, что был тогда слишком занят, пытаюсь выжить, угадывая тяжесть собственного положения по истерзанным лицам окружающих, чтобы думать о погибшем. Не помню также, чтобы я винил его в произошедшем со мной.

Винить его я стал позже. Я проклинал Рикардо Лаверде, проклинал момент, когда познакомился с ним, и мне ни на секунду не пришло в голову, что Лаверде не был напрямую виновен в моем несчастье. Я радовался его смерти; в качестве встречного иска за мою собственную боль я желал ему мучительной смерти. В прерывистом тумане своего сознания я односложно отвечал на вопросы родителей. Ты познакомился с ним в бильярдной? Да. Ты не знал, чем он занимается, замешан ли в чем-нибудь странном? Нет. Почему его убили? Не знаю. Почему его убили, Антонио? Я не знаю, не знаю. Антонио, почему его убили? Я не знаю, не знаю, не знаю. Вопрос настойчиво повторялся, ответ же мой оставал-

ся неизменным, и вскоре стало очевидно, что вопрос не требовал ответа, а был, скорее, выражением скорби, плачем о погибшем. Той же ночью, когда застрелили Рикардо Лаверде, в городе было совершено шестнадцать убийств, в разных районах и разными орудиями. У меня в памяти остались Нефтали Гутьеррес, таксист, забитый до смерти крестовым ключом, и Хайро Алехандро Ниньо, автомеханик, который получил девять ударов мачете на пустыре на западе города. Убийство Лаверде было одним из многих, и было бы чуть ли не самонадеянностью полагать, что нам причитается роскошь объяснений. «Но что же он такого сделал, за что его убили?» – спрашивал меня отец.

– Не знаю, – говорил я. – Ничего он не сделал.

– Что-то наверняка сделал, – говорил он.

– Да теперь-то какая разница? – говорила моя мать.

– Ну да, – вторил ей отец. – Теперь-то какая разница?

Когда я постепенно начал выплывать на поверхность, ненависть к Лаверде уступила место ненависти к собственному телу и к тому, что это тело чувствовало. Ненависть, направленная на меня самого, превратилась в ненависть к другим, и однажды я решил, что не хочу никого видеть, выгнал родных из больницы и запретил им приходить, пока мое состояние не улучшится.

– Но мы же волнуемся за тебя, – сказала моя мать, – хотим о тебе заботиться.

– А вот я не хочу. Не хочу, чтобы обо мне заботились, ни

ты, ни кто-то еще. Я хочу, чтобы вы ушли.

– А если тебе что-то понадобится? Вдруг мы могли бы помочь тебе – а нас не будет рядом?

– Мне ничего не нужно. Мне нужно побыть одному. Я хочу побыть один.

Хочу тишины отведать, подумал я тогда; как в стихотворении Леона де Грейффа, еще одного поэта, которого я любил слушать в Доме Сильвы. Поэзия настигает нас в самые неожиданные моменты. Хочу тишины отведать, беседы мне не потребны. Меня оставьте. Да, так я и сказал своим родителям. Меня оставьте.

Пришел врач объяснить мне, как пользоваться устройством у меня в руке: он сказал, если станет невыносимо, нажать один раз на кнопку, и плевок морфина внутривенно немедленно облегчит боль. Но были и ограничения. В первый день я истратил дневной запас морфина за пару часов (жал на кнопку, как ребенок в компьютерной игре), и следовавшие за этим часы запомнились мне как самый настоящий ад. Я рассказываю об этом, потому что так, галлюцинируя то от боли, то от морфина, я постепенно пошел на поправку. Я то и дело засыпал, без какого-либо распорядка дня – так в книжках описывают дни заключенных – а открыв глаза, обнаруживал вокруг незнакомый пейзаж с любопытной особенностью: он никогда не становился знакомым, я всегда видел его будто бы впервые. В какой-то момент, не помню, когда именно, на фоне этого пейзажа возникла Аура.

Когда я открывал глаза, она сидела на коричневом диване и глядела на меня с искренним сочувствием. Это было новое ощущение (или, скорее, новым было осознание, что на меня смотрит и за мной ухаживает женщина, которая носит мою дочь), но в тот момент я об этом не думал.

Вечера. Я помню те вечера. Я начал бояться темноты за несколько дней до выписки и перестал лишь год спустя. В половине седьмого, когда на Боготу мгновенно спускалась ночь, мое сердце начинало яростно колотиться, и поначалу требовалась сила убеждения нескольких врачей, чтобы заставить меня поверить, что я не умираю от инфаркта. Долгая боготинская ночь – она всегда длится больше одиннадцати часов, без оглядки на время года и уж тем более на душевное состояние тех, кто от нее страдает, – была для меня почти невыносима даже в больнице, где ночная жизнь знаменовалась негасимым белым светом в коридорах и неоновым полусумраком в белизне палат. А в моей комнате, в моей квартире стояла абсолютная темнота: уличные огни не достигали десятого этажа, и ужас, который накатывал на меня от пробуждения в полной тьме, будто я ослеп, вынуждал меня спать со светом, как в детстве. Аура переносила ночную иллюминацию лучше, чем можно было ожидать; иногда она прибегала к помощи масок, которые раздают в самолете для создания индивидуальной темноты, а иногда капитулировала, включала телевизор и, чтобы отвлечься, смотрела рекламу приспособлений, которые режут все виды фруктов, или кре-

ма, который избавляет тело от всех видов жира. Тело самой Ауры, разумеется, менялось: внутри нее росла девочка по имени Летисия, но я был не в состоянии уделять ей внимание, какого она заслуживала. Несколько раз я просыпался от одного и того же кошмара: я снова живу в родительском доме, но уже вместе с Аурой, и вдруг взрывается газовая плита, вся моя семья погибает, а я смотрю на это и не могу ничего поделать. Просыпаясь, я тут же кидался звонить родителям, невзирая на время, чтобы только убедиться: на самом деле ничего не случилось, сон остался всего лишь сном. Аура пыталась меня успокаивать. Она смотрела на меня; я чувствовал ее взгляд. «Все нормально», – говорил я и засыпал лишь под утро, чтобы проспать несколько часов, свернувшись, как напуганный фейерверками пес, и спрашивая себя, почему во сне не было Летисии, что она такого сделала, за что была изгнана из моего сна.

Последовавшие за выпиской месяцы остались в моей памяти как время крупных страхов и мелких неудобств. На улице меня охватывала непоколебимая уверенность в том, что на меня смотрят; из-за внутренних повреждений мне пришлось несколько месяцев ходить на костылях. В левой ноге временами вспыхивала доселе незнакомая боль, похожая на ту, что испытывают при аппендиците. Врачи объясняли, как быстро восстанавливаются нервы, рассказывали, сколько времени отделяет меня от возвращения к самостоятельности, а я слушал их, не понимая, вернее, не понимая,

что речь идет обо мне. В другом месте, довольно далеко, моя жена слушала объяснения других врачей, касавшиеся совершенно других тем, ей давали фолиевую кислоту и делали уколы кортизона, чтобы легкие ребенка нормально развивались (в семье Ауры случались преждевременные роды). Ее живот рос, а я не замечал. Аура брала мою ладонь и клала ее возле выпуклого пупка. «Вот, вот она. Чувствуешь?» – «Но что я должен почувствовать?» – «Не знаю, она как бабочка. Как будто крылья бабочки касаются твоей кожи. Не знаю, понимаешь ли ты». Я говорил – да, прекрасно понимаю, но это была неправда.

Я ничего не чувствовал; я был рассеян; страх мешал мне сосредоточиться. Я воображал лица убийц, скрытые под козырьками, шум выстрелов и непрекращающийся свист в уязвленных барабанных перепонках; внезапно выступающую кровь. Даже сейчас, когда я пишу эти слова, ледяной страх сковывает мое тело. Этот страх на причудливом языке психотерапевта, лечившего меня с момента появления первых проблем, назывался посттравматическим стрессовым расстройством. По мнению психотерапевта, он был тесно связан с эпохой бомб, обрушившейся на нас несколько лет назад. «Так что не стоит переживать, если у вас будут сложности в интимной жизни (он так и сказал – „в интимной жизни“). Я на это ничего не ответил. «Ваше тело сейчас занимается очень серьезным делом, – продолжал он, – ему нужно сосредоточиться на восстановлении и отказаться от

всего необязательного. Либи́до исче́зает первым делом, понимаете? Так что не беспокойтесь, любая дисфункция – это нормально». Я опять ничего не ответил. Дисфункция. Слово показалось мне отвратительным, казалось, звуки ударяются один о другой, уродуя пространство вокруг. Я решил, что не стану обсуждать этого с Аурой. Врач все говорил и говорил, его было не остановить. Страх – главный недуг всех боготинцев моего поколения, говорил он. В моей ситуации, говорил он, нет ничего из ряда вон выходящего; в конце концов это пройдет, как прошло у всех остальных его пациентов. Он не понимал, что меня не интересуют ни рациональное объяснение, ни тем более статистические показатели этих жестоких судорог и внезапной потливости, которая в других обстоятельствах могла бы показаться комичной. Мне нужны были волшебные слова, которые заставят судороги и потливость исчезнуть, мантра, которая позволит мне снова нормально спать.

У меня появились лунатические ночные ритуалы: если какой-то звук или призрак звука будил меня и оставлял на милость больной ноги, я на шаривал костыли, выходил в гостиную, усаживался в кресло с откидной спинкой и глядел, как ночь движется по холмам Боготы, как в безоблачную погоду огни самолетов мигают зеленым и красным, как под утро, когда холодает, на оконном стекле выступает роса. Смятение поглотило не только ночи мои, но и дни. Даже месяцы спустя после гибели Лаверде хлопок дверью, шум выхлопной тру-

бы или звук падения толстой книги под определенным углом на определенную поверхность ввергали меня в тоску и паранойю. В любой момент я мог безутешно разрыдаться без какой-либо причины. Рыдания обрушивались на меня без предупреждения: за столом во время обеда, рядом с родителями или с Аурой, в компании друзей, и к осознанию собственного нездоровья примешивался стыд. Поначалу кто-то всегда кидался обнимать меня, повторяя слова, которыми обычно утешают детей: «Уже всё, Антонио, уже всё». Со временем мои близкие привыкли к этим внезапным рыданиям, и слова утешения иссякли, объятия исчезли, а чувство стыда усилилось: стало очевидно, что я не только вызываю жалость, но и кажусь им нелепым. С посторонними людьми, от которых не приходилось ждать ни лояльности, ни сочувствия, было еще хуже. Во время одного из первых занятий после перерыва какой-то студент задал мне вопрос о взглядах Рудольфа фон Иеринга¹⁸.

– Правосудие, – начал я, – имеет двойную эволюционную природу: в ее основе борьба индивида за уважение к его правам и борьба государства за насаждение среди граждан необходимого порядка.

– Значит, – сказал другой студент, – когда человек реагирует на опасность или нарушение своих прав, мы можем называть его истинным создателем Права?

Я хотел заговорить о тех временах, когда право было ча-

¹⁸ *Рудольф фон Иеринг* (1818–1892) – немецкий правовед.

стью религии, о тех далеких временах, когда еще не существовало различия между моралью, гигиеной, общественным и личным, — но не смог. Зарыдал, утирая глаза галстуком. Лекция была сорвана. Выходя, я услышал, как один студент говорит другому: «Бедняга. Ему не выкарабкаться».

Мне ставили этот диагноз не однажды. Однажды поздно вечером Аура вернулась домой с посиделок с подругами, которые в моем городе называют английским словом *shower*, подразумевая дождь подарков, которыми осыпают будущую мать. Она вошла очень тихо, наверняка стараясь не разбудить меня, но я не спал, а сидел и писал конспект занятия, посвященного этому самому фон Иерингу, ввергшему меня в очередной кризис.

— Почему бы тебе не поспать? — сказала она, *скорее утвердительно, чем вопросительно*.

— Я работаю, — сказал я. — Закончу и пойду спать.

Помню, как она сняла легкое пальто (нет, не пальто, скорее, плащ), повесила на спинку плетеного стула, облокотилась на дверной косяк, одной рукой поддерживая огромный живот, другой провела по волосам; это была долгая прелюдия, которую люди устраивают, когда не хотят говорить того, что собираются сказать, и надеются чудом освободиться от этой обязанности.

— О нас говорят.

— Кто?

— В университете. Не знаю, люди, студенты.

– А преподаватели?

– Не знаю. Студенты точно. Пойдем ляжем, я расскажу тебе.

– Не сейчас. Завтра. Сейчас мне надо работать.

– Уже больше двенадцати. Мы оба устали. Ты устал.

– У меня работа. Надо подготовиться к лекции.

– Но ты устал и не спишь, а если не спать, трудно готовиться.

Она посмотрела на меня в желтом свете столовой и спросила:

– Ты не выходил сегодня, да?

Я не ответил.

– Ты не мылся, – продолжала она. – Так и не оделся с утра, просидел тут целый день. Люди говорят, что тот случай изменил тебя, Антонио. Я говорю им, конечно, изменил, не надо быть идиотами, еще бы он тебя не изменил. Но, если хочешь знать, мне не нравится то, что я вижу.

– Не хочу, – пролаял я. – Никто тебя не спрашивал.

Разговор мог бы на этом окончиться, но тут Аура что-то поняла. Я увидел на ее лице выражение человека, внезапно что-то осознавшего, и она задала мне один-единственный вопрос.

– Ты ждал меня?

Я снова промолчал.

– Ты меня ждал? Волновался?

– Я готовился к занятиям, – сказал я, глядя ей в глаза. –

Или готовиться тоже нельзя?

– Ты волновался за меня, – сказала она. – И поэтому не спишь. Антонио, в Боготе не идет война. Тут не свистят пули, не думай, что теперь с каждым должно произойти то же, что с тобой.

Ты ничего об этом не знаешь, – хотелось мне сказать. Ты выросла в другом месте. У нас нет общей почвы – и это мне тоже хотелось сказать, – ты не можешь понять, и никто не может объяснить тебе. Я не могу объяснить тебе. Но слова застряли у меня в горле.

– Никто и не думает, что такое должно произойти с каждым, – сказал я вместо этого.

Я удивился, что слова прозвучали так громко; я не хотел повышать голос.

– Никто не боялся, что ты не придешь. Никто не думал, что рядом с тобой вдруг взорвется бомба, как было с Трес-Элефантес или с АДБ¹⁹, с чего бы? Ты же там не работаешь. Или как на Девяносто третьей улице²⁰, ты же там никогда не покупаешься. И потом, те времена уже прошли, правда же? Так что никто не думает, что и с тобой могло бы такое случиться, это было бы совсем уж безумие, да, Аура? А мы

¹⁹ Речь о теракте, произошедшем в Боготе в 1989-м году. Возле здания DAS (Административного департамента безопасности) взорвался автобус с взрывчаткой, в результате погибло 63 человека, было ранено около 600 человек.

²⁰ В 1993-м году в торговом районе на пересечении Девяносто третьей и Пятнадцатой улиц взорвалась машина со взрывчаткой; погибло 8 человек, было ранено 242.

же с тобой не безумцы, правда?

– Не надо так, – сказала Аура. – Не...

– «Я готовлюсь к занятиям, – оборвал ее я. – Дай мне поработать, я что, слишком много прошу? Чем нести тут в два часа ночи всякую херню, иди уже спать, не стой над душой, дай закончить с этим.»

Насколько я помню, она не сразу направилась в мою комнату, а зашла вначале на кухню, и я услышал, как открылся и закрылся холодильник, а потом хлопнула дверца буфета – из тех, что закрываются сами, стоит только к ним притронуться. В этой последовательности домашних звуков, по которым я мог проследить все движения Ауры, вообразить их одно за другим, была неприятная фамиллярность, какая-то раздражающая интимность, словно Аура, вместо того, чтобы неделями заботиться обо мне и следить за моим выздоровлением, вдруг, не спросив разрешения, захватила мое пространство. Она вышла из кухни, держа в руке стакан с жидкостью кислотного цвета – одной из тех газировок, что ей нравились, а мне – нет.

– Знаешь, сколько она весит? – спросила Аура.

– Кто?

– Летисия. Мне выдали результаты, она просто огромная. Если через неделю не рожу, надо будет делать кесарево.

– Через неделю, – повторил я.

– Анализы хорошие, – сказала Аура.

– Это хорошо, – сказал я.

– Так ты не хочешь узнать, сколько она весит?

– Кто? – спросил я.

Помню, как она стояла посреди гостиной, на одинаковом расстоянии от кухонной двери и от порожка в коридоре, на нейтральной территории. «Антонио, – сказала она, – нет ничего плохого в том, чтобы волноваться за кого-то. Но у тебя это уже что-то нездоровое. Твои волнения – как будто болезнь, и тут уже я за тебя начинаю волноваться».

Она оставила стакан с газировкой на столе и заперлась в ванной. Мне было слышно, как она открывает кран и набирает ванну. Я представил себе, как она плачет и ее всхлипы смешиваются с шумом воды. Когда я пошел в спальню какое-то время спустя, Аура все еще лежала в ванне: в этом счастливом мире, не ведавшем гравитации, ее живот не был тяжким грузом. Я уснул, не дождавшись ее, а на следующий день ушел, пока она спала. По правде говоря, мне показалось, что на самом деле она не спит, а притворяется, чтобы не пришлось со мной прощаться. Я подумал тогда: моя жена меня ненавидит. И с чувством, очень похожим на страх, решил, что ее ненависть ко мне обоснована.

Я пришел в университет без чего-то семь. Бессонная ночь стояла у меня в глазах, давила на плечи. У меня была привычка ждать студентов снаружи, опершись на каменную ограду бывшего монастырского дворика, и заходить только когда станет очевидно, что большая часть группы уже в сборе. Но в то утро, быть может, из-за усталости в пояснице, а

может, потому что когда сидишь, окружающим меньше бросаются в глаза костыли, я решил зайти внутрь и посидеть там. Но не успел даже подойти к своему стулу: мое внимание привлек рисунок на доске. Повернув голову, я увидел пару человечков в непристойных позах. Его член был длиной с его руку; у нее не было лица, лишь меловой круг и длинные волосы. Под рисунком печатными буквами было написано: «Профессор Яммара вводит ее в право».

У меня закружилась голова, но, кажется, никто не заметил.

– Кто это сделал? – спросил я, но мой голос прозвучал не так громко, как я надеялся.

Лица студентов ничего не выражали; с них словно стерли любое содержание, оставив лишь меловые круги, как у женщины на доске. Я направился к лестнице так быстро, как позволяли костыли, начал спускаться, и когда я миновал рисунок ученого Кальдаса²¹, самообладание покинуло меня. По легенде, Кальдас, один из борцов за нашу независимость, спускаясь на казнь по этой самой лестнице, нагнулся подобрать уголек, и палачи увидели, как он начертил на белой стене овал, перечеркнутый одной линией: «О долгий печальный уход»²². Под этим неправдоподобным, абсурдным, без

²¹ *Франсиско Хосе де Кальдас* (1768–1816) – колумбийский ученый, изобретатель и журналист, борец за независимость Колумбии. Был казнен испанскими роялистами.

²² По легенде, перед смертью Кальдас нарисовал на стене углем овал или букву «о», перечеркнутую поперек. Этот символ можно описать как «o larga y negra

сомнения апокрифическим изображением я проковылял с бьющимся сердцем и потными ладонями, вцепившись в костыли. Галстук терзал мне шею. Я вышел из университета и пошел куда глаза глядят, не разбирая ни улиц, ни лиц прохожих, пока не заболели предплечья. На северном углу парка Сантандер за мной увязался мим, который вечно там ошивается. Он принялся подражать моим неловким движениям, передразнивать мою походку и даже запыхался, как я сам. На нем был черный комбинезон, расшитый пуговицами, на лице из грима только белила. Он двигал руками в воздухе так убедительно, что мне самому вдруг почудилось, будто я вижу его воображаемые костыли. В тот момент, глядя, как талантливый актер-неудачник передразнивает меня, вызывая у прохожих улыбки, я впервые подумал, что жизнь моя рассыпается на куски и что Летисия в своем неведении не могла бы выбрать худшего момента, чтобы прийти в этот мир.

Летисия родилась августовским утром. Мы провели ночь в больнице, готовясь к операции, и обстановка в палате – Аура на койке, я рядом, на диванчике для посетителей – была словно издевательское отражение другой палаты, в другое время. Когда за ней пришли медсестры, Аура уже была одурманена лекарствами; последнее, что она мне сказала, было: «А я все-таки думаю, что перчатка принадлежала Симпсо-

partida» (буквально – «длинная черная рассеченная буква о»), что звучит по-испански так же, как «о долгий печальный уход».

ну»²³. Мне хотелось взять ее за руку, подойти без костылей и взять ее за руку, и я сказал ей об этом, но она уже меня не слышала. Я шагал рядом с ней по коридорам, ехал рядом с ней в лифтах, а сестры говорили: «Спокойно, папочка, все будет хорошо», а я спрашивал себя, какое право имеют эти женщины называть меня папочкой и тем более излагать мне свои взгляды на будущее. Потом возле огромных дверей операционной меня усадили в зале ожидания, который оказался, скорее, проходной комнатой с тремя стульями и столиком с журналами. Я оставил костыли в углу, возле фотографии или, скорее, плаката, с которого беззубо улыбался розовощекий младенец, обнимая гигантский подсолнух на фоне голубого неба. Я открыл старый журнал и попытался развлечь себя кроссвордом: «постройка, где молотят хлеб; брат Онана; человек, склонный к медлительности, особенно показатель». Но я мог думать лишь о женщине, которая спала там внутри, пока скальпель взрезал ее кожу и плоть, о руках в перчатках, которые проникнут внутрь ее тела, чтобы достать мою девочку. Пусть будут бережными эти руки, думал я, пусть действуют ловко, пусть не тронут того, чего трогать

²³ В 1994-м году игрок Национальной футбольной лиги США О. Джей Симпсон был обвинен в двойном убийстве. Его жену и ее друга зарезали во дворе их дома. На месте преступления полиция обнаружила окровавленную перчатку, позже другую такую же нашли в машине О. Джей Симпсона, и эти улики превратили его в главного подозреваемого. Однако на судебном процессе прокурор попросил футболиста примерить перчатки, и они на него не налезли. На этом основании подозреваемого оправдали.

не надо. Пусть они не причинят тебе вреда, Летисия, и не пугайся, бояться тут нечего. Из операционной вышел молодой мужчина и, не снимая маски, сказал: «Обе ваши принцессы прекрасно себя чувствуют». Тут я осознал, что стою (сам не заметил, в какой момент вскочил); ногу пронзила боль, так что пришлось снова сесть. От стыда я закрыл лицо руками: никому не нравится, когда другие видят, как он плачет. «Человек, склонный к медлительности, – подумал я, – особенно показательной». Потом, увидев Летисию внутри чего-то, напоминавшего полупрозрачный голубой бассейн, спящую, плотно завернутую в белые пеленки, которые даже издали выглядели теплыми, я снова подумал об этой нелепой фразе. Я сосредоточился на Летисии. С досадного расстояния я смотрел на ее глаза без ресниц, на самый крошечный рот, который видел в жизни, и жалел, что ее завернули в пеленки так, что не видно ладоней, потому что в ту секунду не было для меня ничего важнее, чем увидеть ладони моей дочери. Я понял, что никогда в жизни никого не полюблю так, как в ту секунду полюбил Летисию, что никто и никогда не станет для меня тем, чем стала эта вновь прибывшая, эта незнакомка.

Я никогда больше не ходил на Четырнадцатую улицу, не говоря уж о бильярдной (я перестал играть: от долгого стояния боль в ноге делалась почти невыносимой). Так я лишился части города или, точнее, часть моего города у меня украли. Я представлял себе город, в котором улицы и тротуары постепенно закрываются от нас, словно комнаты в рассказе

Кортасара²⁴, и в конце концов изгоняют нас вовсе. «Нам было хорошо, но мало-помалу мы отвыкали от мыслей»²⁵, – говорит в рассказе брат после того, как чье-то таинственное присутствие захватило часть дома. И прибавляет: «Можно жить и без них». Это правда, можно. После того, как у меня украли Четырнадцатую улицу, – после долгих сеансов психотерапии, приступов тошноты и боли в измученном таблетками желудке – я стал недолюбливать город, опасаться его, начал чувствовать исходящую от него угрозу. Мир стал казаться мне замкнутым пространством, а моя жизнь – жизнью затворника. Врач твердил о страхе улицы, швырял в меня словом «агорафобия», словно хрупкой вещью, которую нельзя ронять, и мне было очень сложно объяснить ему, что на самом деле все обстояло ровно наоборот: я страдал от жесточайшей клаустрофобии. Однажды во время ничем более не примечательного сеанса врач посоветовал мне разнообразность терапии, которая, как он сказал, давала очень хорошие результаты у многих его пациентов.

– Вы ведете дневник, Антонио?

Я сказал – нет, дневники всегда казались мне нелепостью, суестью или анахронизмом; выдумкой, будто наша жизнь важна. Он ответил:

– Так начните. Я не говорю о настоящем дневнике, заведите просто тетрадку для вопросов.

²⁴ Речь идет о рассказе Х. Кортасара «Захваченный дом».

²⁵ Цитата из рассказа «Захваченный дом» в переводе Н. Трауберг.

– Вопросов, – повторил я. – Каких, например?

– Например, какие опасности действительно существуют в Боге. Какова вероятность того, что это снова с вами случится; если хотите, я поделюсь с вами статистикой. Вопросы, Антонио, вопросы. Почему с вами случилось то, что случилось, и чья это была вина, ваша или нет. Могло бы это приключиться с вами в другой стране. Могло бы это приключиться с вами в другой момент. Имеют ли смысл все эти вопросы. Важно понимать, какие вопросы имеют смысл, а какие нет, Антонио, и один из способов понять – записывать их. А когда вы поймете, какие из них имеют смысл, а какие являются просто глупой попыткой найти объяснение чему-то, что объяснения не имеет, задайте себе другие: как выздороветь, как забыть о том случае, не прибегая к самообману, как снова начать жить, жить в согласии с людьми, которые любят вас. Как избавиться от страха, вернее, как оставить себе лишь нормальную дозу страха, ту, с которой живут все люди. Как жить дальше, Антонио. Многое наверняка уже приходило вам в голову, и все же увидеть вопросы на бумаге – это совсем другое. Дневник. Попробуйте вести его две недели начиная с сегодняшнего дня, а потом поговорим.

Совет показался мне идиотским, как из книг по самопомощи. Я не ожидал такого от профессионала с сединой на висках, с кипами фирменных бланков на столе и с дипломами на разных языках на стене. Разумеется, я не сказал ему об этом, да и не было необходимости, потому что он тут же

встал и направился к книжному шкафу (книги-близнецы в одинаковых переплетах, семейные фото, детский рисунок с нечитаемой подписью в рамке).

– Я уже понял, вы не станете этого делать, – сказал он, открывая ящик. – Все, что я говорю, вам кажется чушью. Что ж, возможно, так оно и есть. Но сделайте мне одолжение, возьмите вот это.

Он достал тетрадь на пружинке, похожую на те, в которых я писал в школе, – с нелепой обложкой, имитирующей джинсовую ткань, – вырвал четыре, пять, шесть страниц в начале и посмотрел в конец, чтобы удостовериться, что там нет никаких заметок, а потом вручил тетрадь мне, точнее, положил передо мной на стол. Я взял ее и зачем-то полистал, словно это был какой-нибудь роман. Тетрадь была в клетку; я всегда терпеть не мог тетради в клетку. На первой странице отпечатались слова-призраки с вырванных листов: дата, подчеркнутое слово, буква «и». «Спасибо», – сказал я и вышел. Тем же вечером, невзирая на скепсис, который вызвала у меня поначалу эта идея, я заперся у себя в комнате, открыл тетрадь и написал: «Дорогой дневник». Сарказм не сработал. Я перевернул страницу и попытался начать:

¿²⁶

И на этом все. Так, держа в руке ручку, вперившись в одинокий вопросительный знак, я просидел несколько долгих

²⁶ В испанском языке вопросительный знак ставится не только в конце, но и в начале вопросительного предложения – в перевернутом виде.

секунд. Аура, всю неделю страдавшая от легкой, но докучливой простуды, спала с открытым ртом. Я взглянул на нее, попытался набросать ее портрет, но не преуспел. Потом составил в уме список наших планов на следующий день, включавший прививку Летисии, закрыл тетрадь, убрал в тумбочку и погасил свет.

Снаружи, в глубине ночи, лаяла собака.

В 1998 году, несколько дней спустя после завершения чемпионата мира по футболу во Франции и незадолго до того, как Летисии исполнилось два года, я ждал такси возле Национального парка. Я не помню, откуда ехал, но помню, что направлялся на север, на один из многочисленных контрольных осмотров, при помощи которых врачи пытались успокоить меня и убедить, что восстановление идет в нормальном темпе и скоро моя нога станет прежней. Такси на север никак не появлялись, а вот в центр, напротив, проехало уже несколько. В центре мне делать нечего, – пришла мне абсурдная мысль, – что я там потерял? А потом подумал: всё. И, почти не колеблясь, в качестве акта личной отваги, непонятного никому, кто не был в моих обстоятельствах, перешел улицу и сел в первое же такси. Через несколько минут, два года спустя после тех событий, я обнаружил себя шагающим к площади Росарио. Я вошел в кафе «Пасахе», нашел свободный стол и оттуда стал смотреть на место нападения, словно ребенок, с восторгом, но и с осторожностью наблю-

дающий, как на вечернем лугу пасется бык.

Мой столик, коричневый диск на единственной металлической ножке, находился в первом ряду: от окна его отделяло расстояние не больше ладони. Оттуда мне не был виден вход в бильярдную, зато была видна дорога, откуда появились убийцы на мотоциклах. Позвякивание алюминиевой кофеварки мешалось с гулом автомобилей снаружи, с цоканьем каблуков; аромат молотых зерен мешался с запахом туалета каждый раз, когда оттуда кто-то выходил. Люди толпились на печальном квадрате площади, переходили обрамляющие ее проспекты, кружили вокруг памятника основателю города (его темная кираса была вечно запятнана белым голубиным пометом). Напротив университета – чистильщики обуви с деревянными ящиками, группки торговцев изумрудами. Я смотрел на них, и меня поражало, что они не знают, что произошло здесь, совсем рядом с тротуаром, где прямо сейчас звучат их шаги. Быть может, именно тогда, глядя на них, я вспомнил Лаверде и осознал, что думаю о нем без страха и тревоги.

Я заказал кофе, потом еще один. Женщина, которая принесла второй, подошла к моему столу, меланхолично протерла его зловонной тряпкой и сразу же поставила передо мной новую чашку на новом блюде. «Желаете еще чего-нибудь, сеньор?» – спросила она. Я увидел ее сухие костяшки, словно исчерченные разбитыми дорогами. Над темной жидкостью поднимался пар. «Нет», – сказал я и попытался на-

шарить в памяти ее имя, но безуспешно. Все университетские годы я ходил в это кафе, а теперь не мог припомнить имя женщины, которая, в свою очередь, всю жизнь здесь работала.

– Можно задать вам вопрос?

– Ну?

– Вы знали Рикардо Лаверде?

– Возможно, – ответила она, вытирая руки о фартук, то ли скучая, то ли в нетерпении. – Он приходил сюда?

– Нет, – сказал я. – Может, и приходил, но я думаю, что нет. Его убили здесь, на другой стороне площади.

– А, – сказала женщина. – Когда?

– Два года назад, – ответил я. – Два с половиной.

– Два с половиной, – повторила она. – Нет, не припомню тут никаких убийств два с половиной года назад. Извините.

Я подумал, что она лжет. Разумеется, у меня не было никаких доказательств, и моего скудного воображения не хватало, чтобы придумать возможные объяснения этой лжи, но мне казалось невероятным, чтобы кто-то забыл о столь недавнем преступлении. Неужели Лаверде умер, а я прошел через агонию, жар и галлюцинации просто так, безо всякой цели, и воспоминаний об этом не осталось ни в мире, ни в прошлом, ни в памяти моего города? По какой-то причине эта мысль возмутила меня. Думаю, именно в тот момент я решил, почувствовал себя способным на что-то, хоть и не помню слов, в которые облек это решение. Я вышел из ка-

фе и забрал вправо, сделал крюк, чтобы не подходить к углу площади, а затем через Ла-Канделарию направился к месту, где жил Лаверде до того, как его застрелили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.